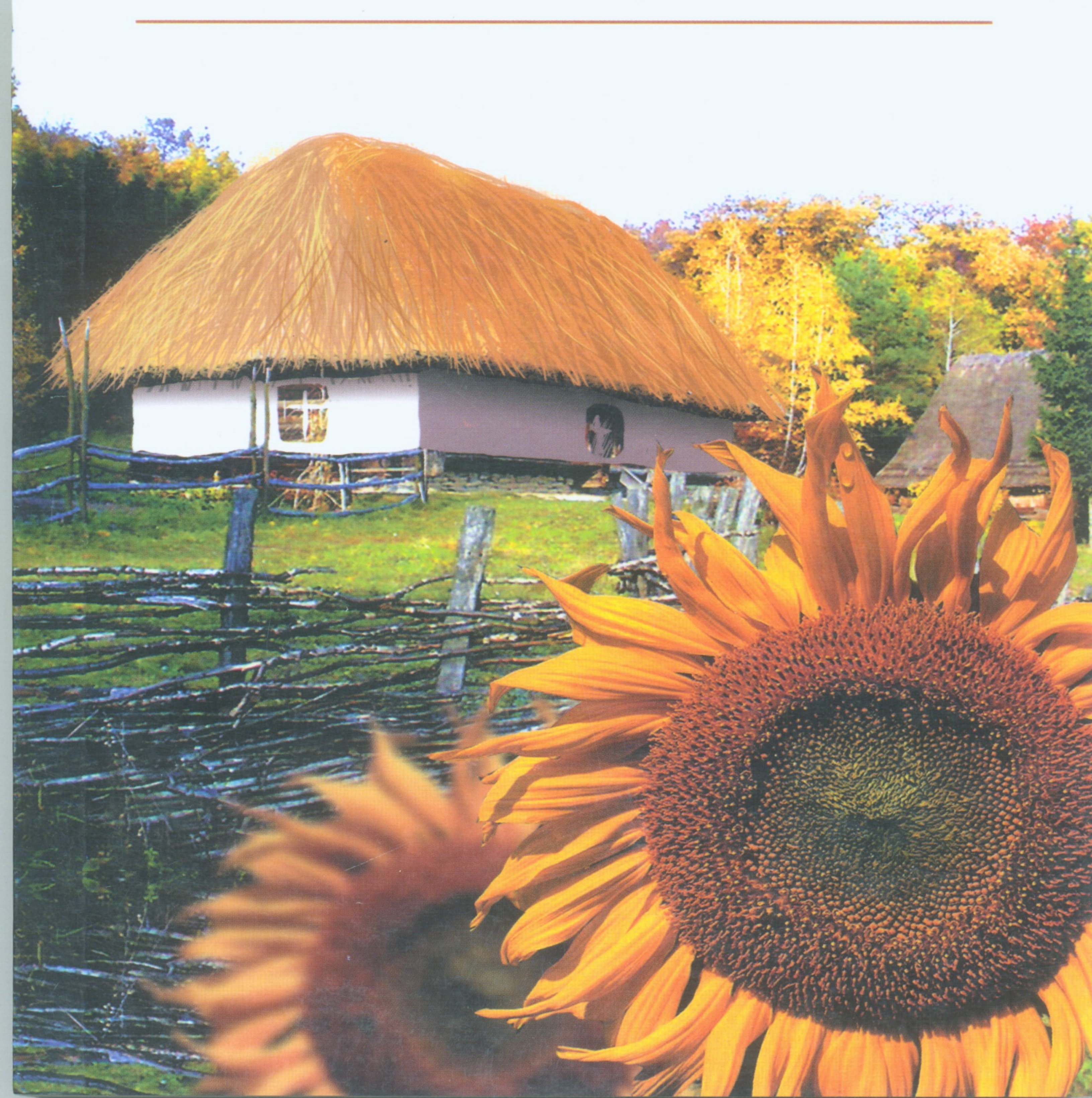
Штундист

Павел Руденко



Annotation

Роман написан в 1892—1893 годах; 2 марта 1892 года Кравчинский делает заметку в записной книжке: «Сел за роман штундистский», а 16 октября 1893 года: «Читал вечером роман и признали оконченным». Первоначально он был задуман как коллективное произведение Кравчинского и англичанки Хесбы Стреттон (псевдоним писательницы Сары Шмит), автора ряда романов и повестей а нравственно-христианском духе. Об истории создания «Штундиста Павла Руденко» жена писателя, Ф. Степняк, позже писала: «Когда русское правительство с особенным усердием принялось преследовать штундистов... английские газеты были полны сведений о возмутительных издеватель-ствах, над мирными сектантами, и английское общество сильно негодовало против бесчинств, производимых Победоносцевым и компанией. В это время одна английская писательница... явилась к Сергею Михайловичу с предложением написать сообща роман из жизни преследуемых штундистов»

Сергей Степняк-Кравчинский

Штундист Павел Руденко

Роман

Глава I

Знойное июньское солнце только что закатилось. Длинные зубчатые тени ореховой рощи

сбежали с полей и, точно растворившись в пространстве, наполнили воздух легким сумраком.

Но небо еще горело ярким отблеском заката, который золотил перистые облака, висевшие в

темной синеве небосклона. Ярко, как звезда, сверкал в вышине крест приходской церкви

деревни Книши, раскинувшейся по холмам одной из правобережных украинских губерний, и

даже серые соломенные крыши казались подернутыми розовым туманом.

Широкая деревенская улица, поросшая травою, начала оживать. Власик, младший сын

богатого Поликарпа, с Юрком, сынишкой кузнеца, устроили игру в городки. Сам старик

Поликарп, переваливаясь и разминая плечи, вышел на задворки избы и принялся строгать новую

обойму. Он работал вяло и медленно, как будто нехотя. Дело было в воскресенье, день, когда

работать грех, и он знал, что ему полагается теперь идти на завалинку и сидеть выпучив глаза в

пространство, – калякать он не любил. Но он был лют на работу, как истый хозяин. Дочка Галя

ушла спозаранку к Карпихе, и ему скучно было сидеть без дела и смотреть, как его старуха

возится у печи, собирая ужин.

У чистеньких белых мазанок, крытых соломою, на глиняных призбочках сидели мужики и

бабы и калякали про свои дела. Из крайней избы в это время вдруг раздались звуки мягкого

стройного пения. Пение было хоровое, но в мотиве было столько торжественности, что это

никак не могла быть обыкновенная крестьянская песня. Не могло это быть также церковным

пением. В хоре можно было ясно отличить звонкие женские голоса, а женщины не поют в
православной службе. Да и не напоминало ни один из церковных напевов это однообразно-
стройное пение, которое мягко разносилось в розовом сумраке теплого июньского вечера. В нем
было что-то своеобразное, крестьянское, напоминавшее не то казацкую думку, не то заунывную
песню слепых украинских бардов-гусляров, распеваемую на паперти в день храмового
праздника. Голоса были подобраны хорошие, молодые, и в пении было столько души и чувства
и столько трогательной искренности и простоты, что даже старик Поликарп не выдержал.
– Хорошо поют, нехристи, – пробормотал он про себя, и хотя не бросил работу, чтобы "не
подать виду", но руки его заходили медленнее, и обух перестал стучать, да и сам он нет-нет, да
и прислушивался. Слова были хорошие, как и песня, и явно божественные.

Скажи мне повесть старую, –
пели невидимые певцы, –
Про светлый мир духов,
Христа и его славу,
Про Божию любовь.
Скажи мне повесть просто,
Как маленьким детям.
Иду я, слабый, грешный,
По жизненным путям.
Скажи мне повесть старую
Про светлый мир духов,
Скажи мне повесть дивную
Про Божию любовь.

Скажи мне повесть тихо,
Чтоб я постиг душой
Всю тайну искупленья
И жизни дар святой.
Вещай мне повесть часто,

В душе мне начертай,
Что грешникам погибшим
Открыл спаситель рай.

– Тише, вы, пострелята, – унимала тетка Олена детвору, которая, не обращая ни на что внимания, громко перекрикивалась и стучала городками.

Разговоры на завалинках приумолкли. Если б не страх поповского проклятия, то, наверное, куча народу собралась бы у избы, где нехристи тянули свою стройную песню.

То пели штундисты, собравшиеся на свою воскресную молитву. Их было немного в Книшах. Всего семей десять. Ересь занесена была в деревню года два тому назад Лукьяном, пасечником, который привез ее из Херсонской губернии, куда он ездил по делам. До того он был мужик, как и все, разве что к храму был усерднее и, не в пример прочим, любил читать Писание и разговаривать о божественном. Поп Василий даже не рад был, что у него завелся такой беспокойный прихожанин. Крестьяне всей округи уважали его за книжность и хорошую, честную жизнь, и хотя он был беден, на сходах его голос имел больше веса, чем голос многих богатеев. А тут вдруг старик точно белены объелся.

Приходят к нему миряне на другой день после его возвращения, чтобы расспросить, где, как и что; а дело было в самый Петров пост, как раз после заговения. Смотрят, а у него на столе щи скоромные, забеленные молоком, и он со старухой и племянником сидят и хлебают.

– Что ты, Лукьян, – говорят ему, – с ума, что ли, спятил?

– Не я, – говорит, – с ума сошел, а вы с вашим попом до ума не дошли. Сказано в Писании: не то оскверняет человека, что входит в уста, а что из уст исходит. Всякая пища дана от Бога на пользу человекам.

"Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет

человека". Они ему слово, он им десять, да все с Писанием. Они к бабе, а та и того борзее: сбил уже и ее. Так ни с чем и ушли.

И пошел с того времени Лукьян чудить.

Иконы побросал с киота. А икон было у него много, и иные хорошие. Не жалел на них денег. А тут одни поколол на щепки, другие бабе отдал на крынки с молоком.

– Идолы это, – говорит, – доски. Вы доскам поклоняетесь. А я христианин и поклоняюсь только Богу.

Дошло до попа. Пришел с крестом, в облачении, увещевать. Стал звать в церковь. Лукьян раньше того ревностен к храму был: ни одной службы не пропускал. А тут:

– Не пойду я, – говорит, – в твою церковь. Не дом она божий, а дом торговый и капище идольское.

Поп крест ему показывает, стыдит. А он:

– Не верю я ни в твои доски, ни в крест твой, а верю в Распятого. Сказано в Писании: "Не сотворите себе кумира ни из дерева, ни из серебра, ни из золота".

Поп рассердился. Написал донос исправнику и в консисторию доложил. Приехала полиция.

Лукьяна увезли в город и посадили в тюрьму. Но следователь попался хороший человек, да и начальство в том месте еще мало о штундистах думало. Продержавши Лукьяна полгода, его выпустили. Он снова вернулся в Книши и стал "чудить" пуще прежнего. Пока он был один, миряне смотрели на его поведение, как на особый вид юродства, и относились к нему добродушно. Но после того как он вернулся из тюрьмы, к нему пристал Кондратий маковеевский, молодой грамотный парень из богатых, ставший большаком в семье после смерти отца. За ним стали приставать и другие. Всего набралось с десяток семей. Поп стал их

увещевать с амвона, да и миряне стали коситься. Не то чтобы они очень ревновали к православию или жалели, что у попа Василия доходов меньше стало. Но их раздражало, что вот эти люди, совсем такие же мужики, как и они, неведомо с чего захотели быть лучше, умнее, праведнее других и вздумали переделывать и перестраивать то, во что верили и что признавали отцы и деды, которые ничем не глупее их. Штундисты стояли бельмом во глазу у мирян и своей набожностью, и хозяйственностью, и трезвостью, и даже безответностью, с какой они выносили насмешки окружающих. Маленькая штундистская община жила, как во враждебном лагере. Но это только придавало особую восторженность религии молодой секты и заставляло их теснее сближаться между собою.

Теперь они сидели в темнеющей избе тесной кучкой, человек в семнадцать, с серьезными строгими лицами, и пели, одни на память, другие – следя глазами за печатным текстом с большим трудом раздобытого экземпляра баптистских песен.

В переднем углу за простым деревянным столом, лицом к собранию, сидел Лукьян. Это был человек лет пятидесяти пяти, с жидкой седеющей бородкой, маленький, лицом с кулачок и большими карими глазами, которые светились добротою и мечтательностью. Он тихонько подпевал слабым голосом, следя глазами за текстом песни по тоненькой книжечке, которую держал перед собою. Он давно знал каждое слово. Но ему казалось вразумительнее, когда видишь стих перед глазами. Рядом с ним сидел первый последователь его и правая рука – Павел, высокий парень лет двадцати двух, с красивым, правильным лицом, какие встречаются между малороссийскими крестьянами; его карие вдумчивые глаза горели особенным одушевлением, когда он выводил бархатным чистым голосом простые и задушевные

слова песни. До своего

обращения Павел был первым певцом в округе и теперь любил петь, но уже только

божественное.

Когда пение кончилось, Лукьян взял маленькую книжечку Нового Завета, незаметно

лежавшую на столе, и придвинул маленький каганец. В собрании произошло движение: это

было приготовление к проповеди. Раскрыв евангелие, Лукьян прочитал притчу о пастыре,

который пошел искать заблудшую овцу, оставив целое стадо. Он читал хорошо и выразительно,

но не бегло, как читают крестьяне-самоучки, по временам запинаясь и делая ударения не там,

где нужно. Окончив чтение, Лукьян положил евангелие на стол, встал и, обведя

присутствующих медленным взглядом, заговорил просто, по-крестьянски.

– Вот, братие мои, что пишется, – сказал он. – Что же это означает? Это надо очень

прилежно обдумать, чтобы понять. Это надо понимать, братие мои, с самых первобытных

веков…

Он заговорил о сотворении Богом человека и о благодеяниях, которыми Бог осыпал

прародителей.

– Подумайте, братие, сколь много любил он человека, что уготовил ему рай. Он, Бог,

Вседержитель, Отец, приуготовил нам землю, небо и воду. Приуготовил он нам плоды, и зверей,

и животных, и травы, и всякия птицы, и рыбы. Все, одним словом: нет того, чтобы милость

Божия поскупилась для человека. Но увы! это еще не вполне обозначает милосердие отца

нашего, творца. Мало того, он еще по своей доброте создал человека по образу своему и

подобию… Понимаем ли мы, друзья мои, коль велика милость божия? Да, братие, ничего более

для человека и в мыслях представить невозможно! Все, все для него было! Живи, плодись,

множься – тебе все дано! И что ж? Он, вместо того чтобы поблагодарить и с кротостью славить

Бога, что ж он, спрошу я вас, друзья мои, сделал?

Лукьян на мгновение умолк, обводя собрание умным вопрошающим взглядом. С самого

начала его речи начали то там, то сям слышаться вздохи. В дальнем углу на лавке сидел кузнец

Демьян, племянник Лукьяна, дюжий широкоплечий парень. Широкое, веснушчатое лицо его с

добродушными серыми глазами было положительно удручено искреннейшим вниманием к

каждому слову оратора. Этот огромный ребенок, видимо, искренне тосковал о том далеком

времени, когда человек жил в прекрасном саду, и о тех благодеяниях, которыми наделил его

творец. От времени до времени он глубоко и скорбно вздыхал. Когда оратор сказал: "Что ж,

спрошу я вас, сделал человек?" – Демьян утер огромным мозолистым пальцем слезу и горько

вздохнул.

– И что ж сделал человек? – продолжал Лукьян. – Он все превратил в бесчинство и

беззаконие! Все нарушил, ничего не послушался. Его природа – вот враг наш! Природа его

совратила с истинного пути. Он не хотел жить честно – и Господь наказал его. Он выгнал его

вон из рая, лишив всего, и вот теперь, даже по сей час, мы ни днем, ни ночью не видим покоя, а

видим одно мучение. Нет у нас пристанища на белом свете! Что Господь давал даром, теперь

мы с кровью рвем друг у дружки.

– Ох-ох-ох! – послышалось в разных концах.

– Дивы бы богатые грызли бедных из корысти. А то и бедные норовят друг на дружку

наступить из зависти и злобы. Что мы теперь? Всю жизнь бьемся как оглашенные, всю жизнь

без передышки страдаем, минуты нет спокою, и все только и делаем,

что друг дружку

обижаем… Вот, братие, как Господь покарал нас!

Вздохи становились все чаще и чаще.

– Да ведь это так и должно, – продолжал Лукьян с энергией убеждения. – Нешто можно

было простить ему, отцу-то? Ведь он отец был наш. Он нам хотел как лучше сделать, а мы как

отблагодарили? Это – хоть бы взять и нашего брата: ежели я, положим, отец и люблю своего

сына и стараюсь для него, а он мне заместо этого взял да и сделал как ни возможно хуже. И что

же? Я его взял да и простил? Похвалил? Нет, братие, так нельзя: это будет баловство! И вот по

этому случаю Бог-Отец никак не мог нас простить. Он должен был нас наказать строго, чтобы

мы почувствовали. И он нас наказал, и до того, что нам бы всем пропасть надо было, потому что

мы достойны погибели…

Демьян всем своим лицом, даже всем своим огромным телом изнывавший от глубокой

душевной тоски, не выдержал. Он опустился с лавки коленями на пол, а локти поставил на край

стола и закрыл лицо ладонями. Из-за этих широких ручищ поминутно стали слышаться

всхлипывания, и белокурые спутанные волосы тряслись на колебавшейся от этих всхлипываний

голове.

– Достойны полной погибели! – повторил Лукьян, возвышая голос. – Иначе, братие мои,

нам бы и быть невозможно. Но Господь милосерд – милосерд неизреченно! Самому ему нельзя

было нас выручить – и вот он послал сына своего возлюбленного… Бог-сын и есть тот Пастырь,

что я читал… А овца заблудшая – это мы все. Вот как надо это понимать.

"Поди сюда! – говорит наш пастырь добрый. – Поди! Я тебя не обижу! Я знаю, что ты вся в

грехах, что ты заблудилась, запуталась в терниях, пропадешь зря… Выходи. Подойди ко мне. Не

бойся. Я тебя спасу… ты мне дорога. Ведь тебя отец мой создал… Поди сюда!"

Голос оратора, за минуту угрожающий и строгий, звучал теперь кротко и нежно.

Демьян рыдал. Слезы хлынули у него между пальцев и с носа бежали крупными каплями. В собрании слышались беспрестанные всхлипывания. Павел, бывший на виду у всех, все время сдерживался. Но тут и он опустил голову, чтобы скрыть катившиеся по его щекам слезы.

Лукьян сел, сильно взволнованный, и стал отирать мокрый лоб рваным цветным платком.

Молчание царствовало минут пять.

Демьян опять сел на лавку. Его веснушчатое лицо было совершенно мокрое. Он сморкался и утирал глаза кулаком. Но слезы так и лились. Когда слушатели успокоились, Лукьян снова встал и, положив перед собою на стол шапку исподом вверх, куда собирались пожертвования, сказал:

– Братие! Вот мы здесь собираемся и беседуем, и Божиим промыслом не препятствует нам рука, разящая наших гонителей. А в это время сколь много наших братьев терпит за слово Божие. Одни в тюрьмах за железными решетками. Другие в кандалах, гонимые по Сибирке, в цепях, в дальнюю сторону, на нужду и мучения. Попомним их, братие, и соберем, кто что может, им на помощь.

В собрании произошло движение. Все встали и пошли к столу. Проходя, каждый клал, что у него было, в шапку. Павел опростал всю мошну. У Демьяна ничего не было, потому что все, что он имел, он отдавал учителю. Он незаметно снял с пальца серебряное кольцо и положил его в шапку.

Глава II

Когда Павел вышел на улицу, темнота уже спустилась. Запад чуть багровел. На небе

загорались звезды, и острый серп луны обозначился, не светя, на темно-синем небосклоне.

Павел поднял глаза кверху, и ему показалось, что глубокий тихий небосклон точно заключает

землю в свои объятия, и звезды смотрят вниз разумным человеческим взглядом.

– "Небеса поведают славу Божию", – с чувством проговорил он.

На сердце у него было светло и радостно. Он был весь под свежим впечатлением проповеди

и общей молитвы.

До Маковеевки было с полверсты. Тотчас же за Книшами шло хлебное поле. Высокая

пшеница белела в темноте, колыхаясь от дуновения ветра. Широкие мерные волны бежали по

ней, как по морю.

Белеющая гладь сменилась темной зеленью поемного луга. Дорога поднялась на пологий

холм, поросший ивняком, который перешел затем в густое чернолесье. Из лесу понесло запахом

окошенного сена. На опушке стояли, склонившись набок, три высокие скирда. Но в глубине

Леса сено еще было не убрано. Дорога пошла опушкою. По правую сторону струился ручей,

отражая бегущие облака, и звезды, и высокие ветвистые ивы прибрежные.

Все – и ручей, и лес, и звезды – говорило его молодой живой вере, все возбуждало в нем

умиление и тихую, благодарную радость.

Деревня была уже близко. До него доносились уже веселые, когда-то любимые, хороводные

песни. Но и эти звуки мирского веселья не могли нарушить его радужного настроения. Дорога

сворачивала круто влево, прямо на деревню. Он вдруг обогнул лес и

вышел на чистое поле.

Перед ним засветились то там, то сям огоньки, и, как сквозь внезапно отворенную дверь, песня

раздалась ясно и громко. Он узнал голос Ярины, первой певуньи на селе, и другой, от которого у

него екнуло сердце: голос Гали Поликарповской, по которой он давно уже тосковал.

Ярина была богатая молодая вдова, от которой девушки, ее сверстницы, не успели

отвыкнуть, а парни и подавно. Она жила одна со старухой бабкой в большой чистой избе с

большим садом, выходившим прямо к реке. К "ей любила собираться молодежь, потому что

нигде не было так вольно и весело. Судя по голосам, в ее саду сегодня собралось немало народа,

и Галя – тоже там. Вместо того чтобы идти прямо домой, Павел решился идти к Ярине, где ему

наверное удастся обменяться с Галей хоть несколькими словами.

Изба Ярины была в самой середине деревни, выделяясь чистенькими крашеными воротами

с новым плетнем. Изба стояла в глубине. Но если бы не звуки веселья, то никто из прохожих не

догадался бы, что в избе собрались гости. В окнах не было света по той простой причине, что и

самых окон-то не было. Изба стояла задом к улице, так как приходилась на ее восточной

стороне, а малороссы строят дома по неизменному правилу: фронтом и окнами на "восход

солнца", хотя бы ради этого им приходилось повернуться спиною к своим Собратьям и

односельчанам.

Отворив ворота, Павел завернул за угол, и изба, как в сказках, повернулась к нему передом:

низенькой дверью с двумя маленькими окошками по сторонам, которые все были отперты

настежь.

Павел не вошел, однако, в дом. Ему ие хотелось обращать на себя внимания и кого-нибудь

видеть, кроме Гали. Он надеялся, что она окажется в саду.

Почти все гости собрались там. Пение уже кончилось, и вместо него раздавались пиликаны

визгливой доморощенной скрипки кривого Панька, наигрывавшего веселого казачка. Когда

Павел вошел в сад, танец был в самом разгаре.

На гладко утоптанной полянке стояли кругом парни и девушки и любовались на

танцующих. В середине была сама хозяйка Ярина, высокая смуглая красавица с смеющимися

карими глазами и бойким вздернутым носиком. Улыбаясь полными малиновыми губами, она

подпиралась в бок то одной, то другой рукой л легко и красиво носилась по поляне, точно

ласточка по воздуху, быстро семеня обутыми в красные башмачки ногами. Но в малорусском

танце главная роль принадлежит кавалеру. Партнером Ярины был Панас Кудрявый, первый

богач и танцор в деревне. Он носился вихрем вокруг своей дамы, то наскакивая, то отбегая

прочь, то бросаясь вприсядку, то вскидываясь "а воздух, стуча каблуками и выделывая ногами

самые удивительные па, между тем как смуглое вспотевшее лицо сохраняло серьезное, почти

угрюмое выражение, по которому можно было узнать заправского украинского танцора.

Павел обвел толпу глазами, отыскивая Галю. Но ее в толпе не было. Он пошел осматривать

сад, но там было совершенно пусто: гости собрались на полянке.

Танец между тем становился все живей и живей. Кривой Панько все учащал темп. Панас

неистово отбивал, каблуками и носился вокруг красавицы Ярины, которая уже не ускользала и

не уплывала от него, а стояла, точно замирая, и чуть перебирала ногами. Мимическая драма

приближалась к развязке. В последний раз он обошел вокруг нее более размеренным, как бы

торжествующим казачком и остановился рядом, взяв ее за руку. Постояв с минуту рука об руку,

оба поклонились зрителям и разошлись в разные стороны. Это значило, что они актеры, а не

настоящие влюбленные: в таком случае они ушли бы вдвоем.

Кривой Панько запилиликал какую-то песню. Но его никто уже не слушал. Гости

расходились по саду и размещались парочками, где кому любо, тихо разговаривая между собою.

То были влюбленные парочки – не всегда будущие супруги. Браком сурово распоряжается

суровая воля отца,.или главы семьи, который чаще всего руководится исключительно

хозяйственными соображениями. После брака женщина поступает в полную власть мужа. Но

девушка до брака вольна видаться, говорить, гулять и просиживать целые ночи с кем ей любо.

Деревенский самосуд неумолимо, варварски карает нарушение целомудрия. Но годами его

жестокие законы остаются без применения, настолько такие проступки редки в деревенской

жизни. Вся поэзия и нежность, которыми так богата южная ветвь русского племени,

сосредоточиваются в чистых, доверчивых и романтических отношениях между молодыми

людьми, напоминающими собою лучшие времена рыцарства где-нибудь в Провансе или

Андалузии.

Сад Ярины был усыпан парочками, как дерево цветами.

Иные сидели на земле рядышком, другие стояли под деревьями, третьи ходили, обнявшись,

взад и вперед. Яркие костюмы девушек, в белых вышитых рубашках, с разноцветными лентами

в косах и на поясе, красиво отделялись на темной зелени кустов и травы. Почти около каждого

такого цветка вился синий шмель в образе парня в праздничном кафтане. Шепот прерывался

иногда громким смехом или тихим напевом нежной песни, назначенной только для одного

слушателя. Все были так поглощены собою, что никто не заметил Павла. Он обошел еще раз сад,

отыскивая Галю.

За садом виднелась река, откуда веяло влажной теплотой. Павел спустился по косогору

вниз. Гали и там не было. С противоположной стороны раздалась трель голосистого южного

соловья, покрывшая собою, как голос солиста покрывает хор, и смех, и разговоры, и все звуки.

Павел послушал некоторое время и унылый вернулся снова к площадке.

"Неужели уже ушла домой", – подумал он.

Но в эту минуту Панас, успевший отдохнуть, встал и пошел решительным шагом в избу.

"Она там!" – сказал себе Павел.

Он, однако, не вошел в избу, а, сев поодаль под тенистую трушу, стал ждать. Через

несколько минут из низенькой деревянной двери, нагнув головку в лентах, вышла молодая

белокурая девушка и легким, грациозным движением переступила порог и пошла в сад. То была

Галя. Павел рванулся было к ней. Но она была не одна. За ней шел Панас с бандурой и что-то

говорил вполголоса, перебирая пальцами струны. Галя кивнула ему головой, и Павел видел в

темноте, что она улыбнулась. По обеим сторонам двери тянулась примазанная к стене

•низенькая глиняная завалинка, укрепленная плетнем, заменяющая собою скамейку. На "ее села

Галя, а Панас поместился на земле у ее ног, с деревенской бесцеремонностью опираясь головою

на ее колени, и стал настраивать инструмент. Павел не выдержал.

– Галя! -сказал он, выступая из темноты. Девушка подняла на него глаза, но не изменила ни

позы, ни выражения лица.

– Здравствуй! – сказала она сдержанно. Зато Панас весь встрепенулся.

– А, апостол! – сказал он со смехом. – Ты как сюда попал? Ребята, – крикнул он на весь сад,

– идите сюда! Павел-апостол пришел. Давайте ему обедню служить.

Появление Павла было неожиданностью. У гостей, как у всякой толпы,

было много
ребячески жестокого желания позабавиться на чей-нибудь счет. Несколько незанятых парней и
девушек тотчас подошли к ним. За ними потянулась, подстрекаемая любопытством, сперва одна
парочка, за ней лениво последовала другая. Обе стояли, не расплетая рук, и с безграничным
равнодушием влюбленных смотрели посоловелыми глазами на происходившую перед ними
сцену.

Панас продолжал паясничать.

– Ну, апостол, затяни нам песнь сионскую, да чтоб повеселей.

Он забренчал на бандуре и, пародируя штундистов, стал петь одну шутовскую песню
мотивом одного из их гимнов. Теперь около них была уже целая толпа, которая громко
хохотала.

– Ну, апостол, что ж ты, подтягивай, – обратился Панас к Павлу, поощренный одобрением.

Павел посмотрел на Галю. Она побледнела. Но при бледном свете луны он этого не
заметил. Ему показалось, что она равнодушна и тоже не прочь позабавиться на его счет. У него
болезненно защемило на сердце, и он почувствовал себя страшно одиноким на свете. Но он не
поник головою: они смеялись "ад его верою, и это поддерживало его. Он смотрел на
паясничающего Панаса и на хохочущую толпу, и хотелось ему крикнуть им: "Безумцы,
идолопоклонники, над собою смеетесь, а не над тем, чего не понимаете!"

В нем поднималось желание ответить насмешкой на насмешку, вызвать на бой всю эту
темную толпу, превратить ее бессмысленный хохот в рев ярости, и если она тут же растерзает
его – пускай! Он не боялся претерпеть за свою излюбленную веру. Но это настроение
продолжалось только минуту. Он смирился духом: не ревность о Боге говорила в нем, а

гордость и досада. Богу не угодна будет такая жертва. Кто хочет быть первым, да будет

последним.

– Ну, дай бандуру, – сказал он спокойно. – Я вам спою. Отчего не потешить честную

компанию.

Панас перестал смеяться и с удивленным видом подал ему инструмент. Толпа тоже

почему-то притихла.

Павел сел на край завалинки, взял несколько аккордов, чтобы дать себе время успокоиться,

и запел, как, бывало, певал, старую казацкую думку.

Панас, успевший прийти в себя от неожиданного предложения Павла, сел на траву

насупротив певца в нескольких шагах от него и, придав своему лицу выражение насмешки,

приготовился слушать, обмениваясь с соседями вызывающими взглядами.

Но с первых же нетвердых звуков глубокого, мягкого голоса певца настроение толпы

переменилось, точно на нее повеяло чем-то чистым, серьезным, возвышенным. Насмешливая

улыбка на лице Панаса застыла в гримасу и так и осталась, потому что он заслушался и забыл ее

убрать, пока она сама не исчезла. Красавица Ярина у двери, прислонившись к косяку и закрыв

наполовину свои красивые глаза, слушала, и казалось ей, что она вдруг стала совсем не той

Яриною, за которою волочатся все парни и мужики, а другою, совсем не похожей на эту.

Думала она о своем девичестве, о муже, о счастливом годе, который прожили они здесь, и стало

ей стыдно, что она так скоро его забыла, и думала она, что бросит она веселье и игрища и будет

жить отшельничкой, а то и вовсе в монастырь уйдет, – и как это будет хорошо и как люди

станут ее почитать за это.

Слушал кривой Панько-скрипач, повесив голову на грудь, и думал он о

том старом времени, когда жили на Украине казаки-рыцари, и рисовалось ему, что рыцарь – он сам, и что не пиликает он на скрипке за два гроша, а воюет с бусурманами за веру христианскую, и что глаз ему выбил не рыжий Петро в пьяной драке, а лишился он его в почетном бою с самим турецким пашою, про которого пел Павел.

Слушала Галя, прикорнувшись на завалинке, и думала она о себе, об отце, о Павле, и загрустила она, что все у них так вышло не по-хорошему, и стала она добрая и жалостливая, и тихонько утирала она слезу, катившуюся по ее щекам.

А Павел между тем разливался все больше и больше, угадавши инстинктом артиста, что происходит теперь в душе его слушателей. По мере того как развивалась драматическая легенда, связь между ними становилась теснее. И он и они забыли про то, что разделяло их. Они жили в этом волшебном мире героических воспоминаний, на которых они вскормились и которыми так богато это поэтическое племя. Вот песня приближается к концу. Последняя могучая нота прозвучала в воздухе. Но никто не пошевелился и не проронил ни звука. Все как будто ждали еще чего-то. Но когда они очнулись, Павла уже не было. Ему невыносимо было снова очутиться в той самой толпе, которая за минуту глумилась над ним. От Гали же он ничего не ждал и, положив бандуру на завалинку, незаметно ушел.

Печальный он шел домой. Его возбуждение прошло, и чувство горького одиночества снова начало глодать его сердце. Он миновал колодезь и деревянную церковь с зеленым куполом. По обеим сторонам потянулись дворы с избами в глубине. Он прошел уже Галину избу с высокими дубовыми воротами, как услышал, что за ним кто-то бежит. Он оглянулся и в первую минуту не мог выговорить ни слова от радости.

– Галя, ты ли это? – вскричал он, бросаясь к ней навстречу.

– Я, – отвечала девушка. – Зачем ты приходил? Она вся запыхалась от быстрого бега и едва

могла говорить…

Павел схватил ее за руку.

– Пташечка моя, спасибо тебе. Я думал, что ты меня больше знать не хочешь.

Галя вырвала у него руку и настойчиво, почти сердито повторила свой вопрос:

– Зачем ты приходил?

– Чего спрашиваешь? – сказал Павел упавшим голосом. – Разве ты не видишь, что я только

и живу, когда тебя увижу.

Она ничего не сказала и стояла, опустив глаза, в выжидательной позе. Тени от ее ресниц

падали на ее бледные щеки.

– Не пойдешь за Панаса? – спросил Павел робко.

– А пойду, коли тато велит, – отвечала девушка, встряхнувшись. – Как мне за тебя идти, за

нехристя? Ведь вы все от креста отреклись.

– Галя, грех тебе это говорить. Мы – нехристи! Мы – отреклись от креста! Когда мы только

и думаем, чтоб взять на себя его крест и идти по стезям, которые он нам указует, – проговорил

Павел, переходя, незаметно для самого себя, в тон проповедника.

– Уж я этого не знаю, – сказала Галя, махнув рукою. – Я не поп. А что я знаю, это то, что ты

меня не любишь. Если бы любил, то не променял бы на Лукьяна со штундою. И чего тебе было

так торопиться? – продолжала она с запальчивостью искреннего убеждения. – Коли тебе так

хотелось в штунду, подождал бы. Чего тебе стоило? Мы бы повенчались, а там ты бы перешел в

какую, хочешь веру. Не развенчали бы уж тогда. А теперь… – в голосе ее послышались слезы.

Слова эти показались Павлу кощунством. Для него обращение в новую веру было

внезапным просветлением, порывом души, откровением свыше.

Поступать, как говорила Галя,

значило бы торговаться, сквалыжничать, мошенничать с Богом. Он не мог об этом и подумать.

Но как объяснить ей это?

– Ты не знаешь, что говоришь, Галя моя, и как ты меня мучишь, – проговорил он грустно.

– Ну, слушай, – сказала Галя, подходя к нему ближе. Она сама взяла его за руку и подняла к

нему милое бледное личико и посмотрела на него в первый раз ласковым, детски доверчивым

взглядом. – Я хочу тебе что-то сказать. Как ты ушел, Панас мне и сказал, что на неделе зашлет

сватов – с рушниками. Отец, я знаю, будет рад меня за него выдать. Он богатый. Да я его

уговорю подождать с ответом. Он меня любит и послушается. Я ведь у него одна. Он и за тебя

бы выдал, я знаю, если б ты был крещеный. Ну вот что я тебе скажу. Бог с тобой, не бросай ты

своей штунды, раз она тебе так люба. Только походи ты это время в церковь так, для виду. Что

тебе стоит? Ведь все люди ходят. Не поганая она какая. Пойдешь?

– Лучше мне лечь в могилу!

– Ну, так только ты меня и видел! – вскричала Галя, отрываясь от него. – Прощай!

Она повернулась и, оглядываясь, побежала назад к Яркие, где, Павел знал, что ее ждет

Панас. Павел пошел домой.

Глава III

Расставшись так гневно с Павлом, Галя бежала, не оглядываясь, пока ее несли ноги, точно она хотела убежать от него, и от тяжкой обиды, и от самой себя. Но когда она подбежала к колодцу, у нее захватило дыхание и она должна была остановиться. Она присела на край тяжелого корыта, выдолбленного из ствола столетней липы, в котором поили скотину. Все внутри ее кипело. Она была первая невеста в деревне и любимая дочка отца. Она привыкла, чтоб все её баловали, и вдруг тот, кого она предпочла всем и кому она открыла это, оттолкнул ее.

Теперь, когда Павла тут не было, его отказ исполнить ее просьбу представлялся ей еще непонятнее и нелепее.

– Не любит, не любит, не любит! – твердила она. И ей казалось ясным, что он приходил только попробовать свою силу над ней, и она готова была разорвать себя за то, что поддалась и выдала себя.

– Дура, дура, дура! – бранила она себя. – Песню ему стоило спеть, и ты уж ему на шею повисла.

Она не могла выдержать и, припав к высокому срубу колодца, заплакала от досады и горя.

Но вдруг ей послышалось, что кто-то идет.

Она встрепенулась, как пойманная птичка, утерла глаза и осмотрелась. Кругом никого не было. То скрипнуло коромысло, которым таскали из неглубокого колодца воду.

Ну да все равно. Если теперь никто не прошел, то каждую минуту могут пройти от Ярины парень или девушка, и если ее увидят, в таком состоянии, все сейчас догадаются, и тогда ей хоть сквозь землю провалиться от стыда!

Она решилась тотчас же вернуться назад к Ярине, где ее отсутствие могли даже не

заметить. Но прежде ей нужно хорошенько оправиться. Она взлезла на дощатый борт сруба,

ухватила болтавшееся в воздухе ведро и потянула его к себе. Журавль заскрипел, как немазаное

колесо, и клюнул вниз ДЛИННЫМ КОНЦОМ жерди, точно настоящий журавль носом. Тяжелый

камень, привешенный к противоположному короткому плечу рычага, чуть поднялся "а пол-

аршина над землею и стукнулся о корыто, которое гулко откликнулось на удар… Галя потянула

еще, и тяжелое ведро- шлепнулось о поверхность воды, опрокинулось и пошло ко дну, натянув

веревку. Девушка соскочила со сруба, встала на бревенчатую ступеньку, вбитую в землю у

подножья колодца, и стала тянуть ведро вверх. Журавль помогал ей, и через минуту из черной

пасти колодца показалось ведро, сверкая на луне и выплескивая брызги.

Галя умылась, вытерлась фартуком, жадно напилась свежей влаги и вылила воду в корыто.

Облегченный журавль вскинул своим длинным носом и взбросил высоко на воздух пустое

ведро, которое взлетело вверх, потом дернулось вниз и заметалось и запрыгало как бешеное,

точно пытаясь перервать веревку, пока не замерло, истощившись в бесплодных усилиях.

Галя между тем уже подходила к воротам Ярины, откуда снова раздавались звуки пляски.

На лице ее не было следа недавней тревоги. Только глаза ее глядели как-то испуганно. Она

обуздала себя с досадой, из самолюбия.

– Что ж, коли ему его поганая штунда дороже меня, не стану и я пропадать из-за него.

Пойду за Панаса, за Грицько, а то и за Панька кривого. В девках сохнуть по нем не останусь.

Теперь она боялась только одного: чтобы у Ярины как-нибудь ее не хватились и не

догадались, куда она убегала. Она осторожно отворила ворота, чтобы они не скрипнули, обошла

избу. Гости опять собрались на полянке, где шла бешеная пляска. Скользя между деревьями,

Галя уже приближалась к толпе и думала, что ей удастся незаметно смешаться с нею, как вдруг

над самым ее ухом раздался голос, от которого она вздрогнула.

– А что, штундарь-то, видно, не понапрасну сюда к нам наведывался,- сказал Панас с

кривой усмешкой.

От "его Гале не удалось скрыть своего исчезновения, и он поджидал ее, лежа под деревом, в

высокой траве, где его нельзя было сразу заметить.

Галя вся вспыхнула. Ей хотелось выбранить, ударить Панаса за его дерзость и бесстыдство.

Но она сдержалась, чтобы не выдать себя.

Она повернула к нему голову и, пожав плечами, проговорила:

– Тебе лучше знать, что он не задаром приходил. Небось не споешь, как он спел, хоть

лопни.

Она попала не в бровь, а в глаз. На лице Панаса появилось такое выражение досады, что

Галя рассмеялась.

– Что, не любишь? – сказала она.

– Нет, ты не отшучивайся! – воскликнул Панас. – Ведь я знаю, что ты за ним побежала.

– Может, и за ним, а может, у колодца свежую воду пила. Тебе что?

Она бросила на Панаса задорный взгляд, от которого у того дух захватило.

За ним бегали все деревенские девки. Одна Галя смеялась над ним и дразнила. Этим-то она

его и заполонила.

– Ну, так пускай будет, что воду пила, – сказал он. И, помолчав минуту, прибавил другим

тоном, продолжая, очевидно, прерванный разговор, – а как же, моя кралечка, насчет сватов

велишь? Посылать?

Голос у него был слащавый, приторный, совершенно не

гармонировавший с его высокой мускулистой фигурой и жестким выражением лица.

"И чего это он все лезет", – досадливо подумала про себя Галя. Но деревенский этикет не позволял невежливо ответить на такой вопрос.

– Что ж, посылай, – сказала она шутливо. – Ворота для всех отпираются. А у отца в огороде тыкв много. Я пока пару испеку. Одну себе на гостинцы возьмешь, другую свезешь Павлу по дружбе, за то, что ладно поет.

Панас захохотал.

Печеная тыква, поданная в доме девушкой на сватовском визите, означает полный отказ. Но Галя шутила. Поминание Павла как кандидата на печеную тыкву было уже само по себе таким поощрением, какого Панас не ожидал. Ему стало весело. Он пропустил даже мимо ушей шпильку насчет Павлова пения.

– Зато уж на бандуре ему до меня далеко, – добродушно сказал он. – Хочешь, я тебе сыграю новую песню? Меня в городе архиерейский бас научил. Вместе в трактире пили.

– Что ж, сыграй.

Панас сыграл какую-то пародию на романс, подпевая себе вполголоса жиденьким слащавым тенорком.

Гале не нравился ни его слащавый голос, ни его слащавая манера ухаживать. Но сегодня, в отместку Павлу, она кокетничала с Панасом и не только не затыкала ушей, как часто делывала, когда он принимался петь, а даже заставила его спеть еще. Она согласилась идти с ним танцевать и позволила ему потом уйти вместе с нею. Но когда они уселись вдвоем у куста диких роз и Панас, нагнувшись к ней, неожиданно поцеловал ее в самые губы, она так огрела его по лицу, что у него искры из глаз посыпались.

– Ну, коли у тебя будет такая же тяжелая рука, как моей жинкой будешь, то плохо тебе

придется, – сказал Панас, стараясь сохранить шутливый тон, между тем как его забирала настоящая злость и от боли слезы сами собою выступили у него на глазах.

Галя тоже рассердилась. Панас умел ее забавлять. Она не прочь была поболтать с ним, и ей льстило перед подругами его явное предпочтение. Но она терпеть не могла, когда он начинал смотреть на нее маслеными глазками и лез к ней с поцелуями и нежностями.

– Кто ж тебя напугал, что я твоей жинкой буду? – спросила Галя насмешливо.

– А будешь, потому что тебе больше не за кого, – грубо сказал Панас.

– Не буду, – упрямо сказала Галя.

– Будешь!

Галя вскочила с травы и убежала. Они серьезно поссорились и остальную часть вечера не разговаривали и избегали друг друга.

Впрочем, Панас вскоре вовсе ушел от Ярины. Гале разом полегчало… Было уже около полуночи, но молодежь еще не думала расходиться. На траве кучка девушек и парней сидели у раскидистой шелковицы и слушали кривого Панька, который был не только музыкант, но и сказочник и первый знаток всех деревенских поверий. Ярина была там же. Галя подсела к ней и, повернувшись лицом к реке, стала смотреть на серебристые волны.

– Так вот, батько мой ни с чем и ушел, – говорил Панько, продолжая, очевидно, рассказ про какую-то деревенскую быль. – Найти-то клад он нашел, а взять не мог, потому что не всякому клад дается. Понадеялся на себя и добрых людей не спросил, как к нему подступиться.

Он пустил несколько клубов белого дыма и посмотрел задумчиво на бледною луну, которая поднялась над садом.

– А что же нужно, расскажи, Панько, голубчик, не томи, – вскричала Ярина. – Мне смерть

как хочется клад найти.

Панько только того и ждал.

– Гм, – протянул он и снова пыхнул несколько раз своей кривой трубкой. – Знаете воробьиную ночь?

– Знаем, знаем, – раздалось несколько голосов разом.

– Когда дождь и гром и зги не видно, а черт воробьев в когтях душит и только вверх метает и пускает на волю…

– Да, знаем, знаем. Ты нам дело говори, – перебила Ярина.

– Ну так вот, в такую-то ночь, об эту самую пору, то есть о полночь, – сказал Панько, понижая голос, – нужно выйти на перекресток, разложить костер, вскипятить воду из пруда, где кто-нибудь утопился…

– Ах, страсти какие, – прошептала Ярина.

– И как пробьет полночь, нужно туда бросить живую жабу. И что бы там ни было, нужно не оборачиваться и все на воду смотреть. Крик, свист будет кругом. Кареты будут скакать по дороге во весь дух, и кучер будет кричать "пади", а ты все сиди и не шевелись. Люди подходить будут всякие и спрашивать. А ты все сиди, молчи, не оборачивайся. Чудища всякие пугать будут. А ты все сиди, не крестись. А как петухи прокричат, перекрестись, вылей котел на землю и найди жабью лопатку и вот ею-то до клада-то и дотронься, как найдешь. Тогда уж тебе и дастся, – потому что нечистая сила тут уж ничего не может.

Он замолчал, наслаждаясь безмолвным оцепенением слушателей.

Но Галя вмешалась. Недаром она была рассудительная и грамотная девка.

– Ну статочное ли дело, – сказала она, – чтоб нечистая сила так-таки и не могла с тобой совладать!

– А крест на что? Ты с крестом ведь на шее? – возразил Панько. – А то еще, кто боится, – прибавил он снисходительно, – тот может четыре креста на дороге провести со всех сторон.

– Ну то-то же, – соглашалась Галя.

В это время на колокольне стали бить часы. Все прислушивались', считая. Пробило

двенадцать.

– Вот теперь как раз вся нечисть на землю напускается, – сказал вразумительно Панько, – и

дается ей воля до первых петухов. А как петух прокричит…

Вдруг на берегу мелькнула какая-то полунагая фигура и воздух огласился диким воем,

похожим не то на вой волка, не то на человеческий вопль.

Все так и шарахнулись.

– С нами крестная сила!

– Наше место свято! – с ужасом прошептали девушки.

Панько молчал и продолжал сосать трубку.

– Ничего, – сказал он наконец успокоительным голосом. – Это Авдюшка юродивый по

берегу бегает.

– А знаете, девки, с чего это Авдюшка юродивым стал? – спросил Панько. – Ведь я еще

помню его – парень как парень был. Первый молодец был.

– С пожару, говорят, – сказала Галя. – Вся семья у них сгорела. Самого замертво из огня

вытащили.

– Ну вот выдумала! – презрительно возразил Панько. – А пожар-то с чего? Он ведь и дом-то

поджег, юродивым будучи. Ты тогда еще на карачках ползала.

– Ну так с чего же, расскажи, – сказала одна из девушек.

– А вот с чего, – начал Панько. – Знаете Панночкину могилу?

– Ну как не знать? '

– Хуже этого места во всей округе нет. Ну вот, побился Авдюшка об заклад, что пойдет он в

самый овраг, на самую могилу и принесет оттуда что-нибудь. Известно, молодость: думал

свячёной просфоры взять с собой за пазуху. Со святым хлебом, мол, никакая погань не тронет.

Да черт хитрей его оказался. Как стал собираться, про просфору-то и забыл. Совсем из ума

выскочило. Только как к лесу подходить стал, "вспомнил. Хотел

вернуться, да стыдно было:

ребята засмеют. "Пойду, говорит, будь что будет". Известно, молодость. Подходит и видит

костер, а вокруг костра люди. "Ну, думает, это слава Богу: хоть воры, хоть разбойники, а все

христианские души". Подходит это он, хочет перекреститься,- а рука тяжелая, как каменная.

Поднять не может. Хочет молитву сказать, язык не поворачивается. Ну, думает, была не была.

Идет к костру.

– Здравствуйте, – говорит, – люди ли вы, или иное что, не знаю. Так и так, – говорит. –

Побился, – говорит, – об заклад, что приду сюда к вам и вынесу что-нибудь на память. Так

будьте ласковы, дайте.

Все рожи так на него и уставились, а старик, черный да волосатый, и говорит:

– Исполать тебе, добру молодцу. Возьми вот целого барана. Для такого молодца ничего не

пожалеем.

Видит Авдюшка, у них над огнем баран ободранный висит. Сняли это они тушу, взвалили

ему на плечи, ажио крякнул он.

– Спасибо, – говорит.

– Не на чем, – говорит волосатый и как загогочет, а за ним вся компания. У Авдюшки

мурашки по коже пробежали. Догадался он, к кому это он попал.

Ну, думает, только бы ноги унести.

Несет это он барана, не оборачивается, а сам кряхтит. Выволок из лесу. Пошел нивой, а

вдруг баран, что на плечах, как заблеет – зарезанный-то. Смотрит, аи это не баран вовсе, а

человек зарезанный. Бросился он бежать что есть мочи, и как прибежал в деревню, так и упал

замертво.

Еле отходили. На другой день пошли люди к оврагу, как Авдюшка наказывал, смотрят –

никакого костра нет, а на том месте, где он барана уронил, лежит мертвое тело. Вот Авдюшка с

того часу стал задумываться и скоро ума решился и с тех пор юродивым ходит.

Панько замолчал.

Всем стало грустно.

– Да будет тебе, – сказала Ярина. – Таких страстей наговорил, что еще ночью привидится.

Сыграй нам лучше что-нибудь.

Панько взялся за скрипку.

Было далеко за полночь, когда вся эта молодежь стала расходиться от Ярины, чтобы,

освежившись двумя, тремя часами сна, встать чуть свет для тяжелой дневной работы.

Прощаясь с Галей, Ярина сказала ей с улыбкой:

– И чего это ты, девка, над Панасом куражишься? Ведь за штундаря батько все равно не

выдаст. А Панас чем не жених? Волов у него четыре пары, да баштан, да денег старый что ему

оставит! И из себя чем не казак? Не правда ли, девчата? – обратилась она к гостям.

Девушки захихикали, некоторые довольно принужденно.

– Ну и берите его себе, Ярина, голубка, коли он вам так люб, – отшучивалась Галя. – Мне

ни его волов, ни его самого не надо.

– А отобью, смотри, право, отобью. Не зевай, – сказала Ярина, – даром, что я уже старуха.

Только потом, смотри, не сердиться.

– Не буду, голубочка, ей-ей. Хоть одним меньше, все лучше, – Галя продолжала в том же

веселом тоне.

Но на душе ей было не весело.

Павел ее бросил, а Панаса с его волами и баштанами и деньгами отец не даст так-то легко

бросить.

Когда она вернулась домой, усталая, в свою чистую жесткую постель, ей вдруг

представилось лицо Павла, когда он, бледный от волнения, схватил ее за руку.

"Ах, если б взаправду помогла Ярина!" – подумала она и улыбнулась, –

и так заснула с
улыбкой на своем милом детском личике, освещенном полною луною.

Глава IV

Старуха Ульяна, мать Павла, была ревностной и, для женщины, довольно начитанной штундисткой. Но хотя она и знала все штундистские тексты, и соблюдала все штундистские обычаи, и даже иногда проповедовала, но все-таки против одной заповеди она сильно грешила: она сотворила себе своего собственного кумира в образе сына, которому поклонялась и который чтила больше, чем многие из грешных "церковников" чтут своих угодников и свои иконы. Она жила сыном и для сына, считая его не только складом всех добродетелей, но и кладезем всякой премудрости. И в новую-то веру она перешла больше потому, что знала, как обрадует этим сына. Понемногу она втянулась в нее сама: Павел был так исполнен этой верой, что она, незаметно для самой себя, уходила в нее все глубже и глубже. Но это было делом привычки и повторения, а не страсти, которая вся ушла у нее в сына. Ульяна звалась, по крестьянскому обычаю, "старухою", но вовсе не была стара: ей едва минуло сорок пять лет. Взглянув на нее, как она собирала ужин, ожидая прихода сына, ей нельзя было бы дать больше сорока. На колокольне пробило восемь. К этому времени Лукьян кончал обыкновенно проповедь. Через полчаса Павел будет дома. В комнате стало совсем темно. Ульяна сняла с полки трехрогий каганец, засветила один рожок и поставила на стол, осветив тусклым светом широкий дубовый стол без скатерти, на который она положила каравай непросеянного пшеничного хлеба и поставила деревянную коробку с солью и большой деревянный жбан с грушевым квасом. Киот без икон зиял, как черная яма, в почетном углу. По стенам виднелись

две-три лубочные
картинки, содержания которых при тусклом свете нельзя было разобрать. Вдоль стен тянулись
темные гладкие скамейки, блестевшие, точно полированные.
Ужин был уже готов и стоял в тепле, в огромной кубической печи, занимавшей чуть не
половину комнаты. Хотя огонь в, ней чуть теплился, в избе становилось невыносимо душно.
Ульяна отворила двери настежь и, высунувшись в окно, довольно долго глядела, во двор на
дорогу, по которой должен был вернуться Павел. Потом, вздохнувши, она отошла от окна и
стала хлопотать по дому, чтобы как-нибудь убить время. Она пошла в клеть и отсыпала в
горшок пшена на завтрашний обед. Потом она заглянула в закуту, намешала корм свинье,
подложила охапку сена каурой кобылке и подсыпала гречки в курятник. На дворе валялось
опрокинутое лукошко. Ульяна подняла его и повесила на колышек под навесом. Потом она
вернулась в избу и, засветивши все три рожка каганца, села у окна, вынула чулок и стала вязать
с довольным видом. Теперь Павел должен вернуться с минуты на минуту.
Но минуты проходили за минутами, а Павла все не было. Наконец загудел колокол и
пробило девять. Павла все нет как нет.
– К Ярине за Галькой пошел! – сказала себе Ульяна с сердцем. – Не придет до полуночи.
Она потушила все рожки, чтобы не тратить без нужды масла, и снова села к окошку,
продолжая вязать в темноте. Быстро ходили в проворных сухих пальцах Ульяны иглы, сердито
постукивая друг о друга и сверкая от времени до времени злым коротким блеском, как жало
змеи, когда лунный свет падал на них. Ульяна думала о девушке, которая отняла у нее сердце
сына, и морщины становились глубже между бровями и на углах рта; ее обыкновенно доброе,

несколько постное лицо становилось неприятным и злым.

Когда, два часа спустя, Павел отворял ворота, окно было ярко освещено всеми тремя

рожками каганца и на столе стоял ужин. Мать ласково поздоровалась с ним, но не пошла ему

навстречу. Уже по тому, как он отворял дверь и как шел по сенцам, она угадала, что на сердце у

него невесело. Это заставило ее быть особенно деликатной и внимательной, чтобы как-нибудь

его не задеть. Она ни о чем не спрашивала и молча стала подавать ему ужин и села вязать.

– Что же вы, мама? – спросил Павел.

– Неохота что-то, – отвечала она. – Да я же и ела, – прибавила она, спохватившись.

Павел отломил кусок хлеба, придвинул миску и медленно, молча, стал есть..

Наступила длинная тяжелая пауза. Вязальные иглы в руках Ульяны уже не стучали резко и

коротко, словно ссорясь и перебраниваясь друг с другом, а тихо ползли рядом,' точно

враждующие члены семьи, когда они пришиблены общей заботой.

– А что, не заходил мельник? – спросил наконец Павел.

– Нет, не заходил, – отвечала мать.

Павел знал это. Мельник не мог зайти так скоро. Он спросил об этом, чтобы завести

разговор и успокоить мать., Мать поняла это и, помолчав с минуту, спросила;

– Был у Ярины?

– Был.

Наступила новая длинная пауза, но она уже не была тяжелою. Спицы уже не наскакивали

друг на друга и не прятались, чтобы избежать столкновения. Они стучали ровно и мерно,

пригоняя каждое движение одно к одному, и лицо Ульяны, которая вязала, слегка прищуривая

глаза, было задумчиво и сосредоточенно, но на нем не было прежней тревоги.

– Бросить надо, Павел, – проговорила она вполголоса, не поднимая

глаз на сына. – Не жена
она тебе.

– Нечего бросать, сама бросила. Выходит за Па-наса. Сама сказала, – проговорил Павел
залпом.

Ему захотелось разом высказаться, излить свое горе. Он рассказал весь их разговор.

– Нехристи мы, говорит, не может за меня пойти. Если пойдешь, говорит, в церковь и
поклонишься идолам – пойду.

– Вишь, что надумала, что надумала! Искусительница. Это как в Писании про пророков
Божиих.

Им обоим поведение Гали представлялось в таком свете. Ульяна и негодовала на девушку,
оскорбившую ее Павла пренебрежением, и вместе с тем в душе была довольна, что Галя,
разлучница, похитившая у нее сердце, сына, оказалась недостойной его.

– Брось, не думай о ней. Не стоит она тебя! Не было бы тебе счастья с ней. Да и не любила
она тебя никогда. Не стала бы того от тебя просить, когда б любила! – закончила она
запальчиво, вспоминая свою собственную любовь.

– Не судите ее, маменька, не ведает она, что творит. Если б знала, то не сказала бы.

– Кому же знать? Ведь она, даром что девка, – грамотная. В школу три года ходила.

– Не всякому Господь открывает и из мудрых. Я пытался говорить с ней, но душа ее не
лежит к слову бо-жию, а к мирской суете. Что ж, значит не судьба…

Он взглянул долгим вопросительным взглядом на мать, точно ожидая возражения и
утешения и умолял о нем.

Но мать не могла выжать из себя утешения. Она нахмурилась.

– А знаешь ли, – начала она, чтобы переменить разговор, – барчук Валериан Петрович,
сказывают, на деревне был. Он уж с неделю у папеньки гостит, да к нам пока не заглядывал.

Чудной такой, говорят. Больных лечит и ничего не берет, а сам приносит по малости, коли,

кому нужно. Добрый и простой. А в церковь, говорят, никогда не ходит, – прибавила Ульяна

шепотом.- В избу войдет, шапку снимет и всем людям поклонится. А на иконы не кланяется. И

за стол садится – не крестится. Мне пришло в голову, уж не из наших ли? Что-то похоже. Как

это тебе кажется?

Павел улыбнулся. Он любил читать и читал не одни божественные книжки. Он знал, что у

господ не ходить в церковь и не креститься вовсе не значит быть баптистом.

– Нет, не из наших он, матушка, – сказал он, – и не божий глагол двигает им, а гордыня.

– Ну вот! – заступилась Ульяна. – Он, говорят, простой, вовсе не гордый.

– Гордый не перед людьми, а перед Богом. Эта гордость от суемудрия греховнее

человеческой гордости. Не о Боге он радеет, а о своей гордости. Не во спасение такая

добродетель, – закончил Павел безапелляционным тоном сектанта.

Ульяна пригорюнилась: она помнила Валериана маленьким мальчиком, и ее огорчала

судьба его души.

– А чего бы тебе, Паша, – сказала она ласково, – не повстречать его как-нибудь и не

побеседовать с ним? Как знать, может ум его и просветится верою.

– Что вы, матушка! Станет он со мной беседовать. А если и станет, то где же мне с ним

тягаться. Он, поди, все науки произошел. А я, чему я учен?

– Иному и без ученья Господь открывает свою премудрость, – сказала Ульяна

восторженно.- Помнишь, как с отцом Василием ты перед мирянами о "Святом Духе"

препирался?

– Ну да ведь то поп Василий! – сказал Павел и улыбнулся в первый раз за весь вечер при

воспоминании о своем диспуте.

"Ну вот и слава Богу", – подумала про себя Ульяна. С легким сердцем она принялась

убирать со стола. Становилось поздно, и Павел давно отужинал.

Вместо послетрапезной молитвы Павел открыл Библию наудачу и, остановившись глазами

на первой попавшейся красной строке, стал читать:

"Руфь же сказала: не упрашивай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты

пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить; твой народ – мой народ, и

твой Бог – мой Бог".

Павел остановился и поднял на мать удивленные глаза. Та тоже была поражена и не могла

этого скрыть.

– Что это значит? – Павел заговорил первым. – Это неспроста.

В своей наивной вере оба были убеждены, что в Писании заключаются не только судьбы

человечества, но и судьба каждого из них в отдельности. Случайность для них не существовала,

все было – промысел.

– Тут указующий перст божий, – повторил Павел назидательно.

Ульяна не выдержала.

– Может ли перст божий указывать на союз с язычницей, богохульницей!

– Матушка, премудрость божия неисповедима. Не надлежит понимать прямо все, что

написано, – сказал Павел успокоительно.

– А как же иначе?

– Не знаю, – скромно ответил Павел. – Подумаю и буду молиться. Может, Господь и

просветит меня.

Долго в эту ночь каганец теплился в каморке у Павла. Долго читал он, долго молился, пока

наконец здоровая натура не взяла свое и он не заснул на скамейке, как был, одетый.

На другой день Павел был сам не свой. Он почти ничего не ел и ни с кем не видался,

проводя все время в молитве и чтении и упорном размышлении. Он

твердо верил, что Бог
укажет ему выход. Но выхода этого он не находил. Если б ему предстояло жениться на Гале, на
церковнице, не дожидаясь ее обращения, он не задумался бы. Тут слова Писания были ясны и
просты. Да и сердце говорило ему то же: разве Галя язычница и богохульница? Она – дитя
малое, неразумное. Поймет, подумает и обратится потом. Брак с ним был бы ей путем ко
спасению.
Но от него требовалось не только забыть, что она не баптистка. Ему самому нужно было

стать церковником, отречься от истинной веры, что было еще хуже. Это был грех против святого
духа, который не простится ни в сей век, ни в будущий. Этого Бог не мог указывать ему.
Так прошло три дня. Наконец он решил идти за советом на пасеку к Лукьяну, своему
учителю и другу, к которому он привык обращаться во всех трудных случаях жизни. Но по
дороге ему встретился Лукьянов племянник, кузнец Демьян, который шел к нему попросить
коня, чтобы ехать на ярмарку. Лукьян уехал туда с медом на другой день после моленья и не
возвращался. Они начинали о нем беспокоиться, и Демьян, по совету жены, решил ехать ему
вслед. Ему нужно было свой товар продать, да и за Лукьяном не мешало" присмотреть, потому
не ровен час.
Павел охотно дал коня и наказал Демьяну дать ему знать, как только они вернутся.
Лукьян обещал быть дома непременно в субботу, чтобы не пропустить воскресного
моления. Но на воскресном собрании не было ни Лукьяна, ни племянника. Они не вернулись и в
понедельник. Демьян привел коня только во вторник вечером и сказал, что они с Лукьяном
вернулись, но что с ними случилось несчастье: у Лукьяна по дороге

его собственного коня

увели конокрады, так что, если бы не Демьян с подводой, старик неизвестно как бы и домой

вернулся.

Ульяна только руками всплеснула.

Демьян не казался, однако, особенно огорченным. В его топорной фигуре было, напротив,

что-то ликующее.

– Приходи непременно завтра, – сказал он Павлу. – Сам звал. Такие, братец мой, дела, что и

сказать невозможно. Вот приходи, он сам тебе все расскажет.

Глава V

Павел выбрался спозаранку. День был ясный, безоблачный. Ласточки реяли высоко в воздухе, предвещая сильный зной. Но когда Павел вышел из дому, было еще свежо. Луг еще сверкал росою, и узенькая тропинка была влажна. Он хотел застать Лукьяна одного и переговорить с ним хорошенько о своем деле.

Лукьянова изба была на отлете и из ближних к Маковеевке. Пройдя ложбину, Павел быстрым шагом поднялся на пригорок и тотчас увидел белую хатку с большим огородом, и правильный ряд серых ульев, и самого Лукьяна в бабьей кацавейке и широких портах, копавшегося между ульями. Павел отворил калитку и, войдя в огород, стал несколько поодаль и начал смотреть, не решаясь подойти близко к жужжащим роям. Лукьян вынимал соты, слегка подкуривая пчел куском зажженной пакли. Рои пчел, оторванных от работы, растерянно кружились по воздуху и уныло жужжали, точно жалуясь на такое нарушение своего спокойствия и грабительство. Но хотя Лукьян был без сетки, с голыми руками и босой, они не кусали его, признавая в нем хозяина-друга.

– Чего воете? останется и вам, – проговорил Лукьян, точно те понимали человеческий язык.

Он оглянул черешню, на которой примостились густым клубом его летучие работники, и тут только заметил Павла. Его кроткие карие глаза и все его морщинистое маленькое лицо как-то осветилось, – до того радушна и ласкова была улыбка, какой он встретил гостя.

– Здравствуй, брат! – сказал он, произнося последнее слово не скороговоркой, как это обыкновенно делается, а особенно внятно и выразительно. – Хорошо,

что пришел. Мне тебе нужно много рассказать. Оттого-то я и послал за тобой.

– Я бы и сам пришел, – сказал Павел. – Мне тебя вот как нужно.

Он сделал жест рукою.

– А что? разве что у нас случилось? – с испугом спросил Лукьян.

– Нет, ничего. Я так, по своему делу, – пояснил Павел.

– Хорошо, я сейчас, – сказал Лукьян, привыкший быть общим советчиком. – Вот только выйму соты.

Он отворил дверцу и, отломив опытной рукой несколько сотов, положил их в большой горшок, который был уже наполнен сотами из других ульев.

– Ну вот, готово. Пойдем в избу, отведаем. Моя первая выемка в этом году.

Они направились к избе. С дюжину пчел-собственниц полетело за ним следом и, наткнувшись на Павла, несколько штук набросилось на него.

– Пошли, пошли, глупые! – унимал их Лукьян, обмахивая Павла шапкой.

Пчелы отстали, но продолжали лететь за ними следом.

– Вот малая тварь, а много взыскал ее Господь своей мудростью, – проговорил Лукьян задумчиво. – Подчас диву даешься, откуда что берется. И человека знает. Чужого от своего всегда отличит. А что, не укусили тебя? – спросил он заботливо.

– Нет, не укусили.

– Ну, так значит, из тебя пчеловод будет. Тебя пчела полюбит. Она даром что мала, а умеет человека от человека отличать. Душевное дело пчелу водить. Приятная тварь, – сказал он любовно.

Они были уже в избе, которая была и меньше и на вид беднее, чем Павлова. Стены были совершенно голые. Стол был простой, сосновый, а кухонная посуда вся состояла из нескольких глиняных горшков. Но желтый глиняный пол был чисто выметен, и на столе не было ни соринки. Бедность не колола глаз, хотя с первою взгляда видно было, что Лукьян – бедный,

нехозяйственный мужик. Зато в переднем углу, в том месте, где прежде были иконы, стояла

целая полочка книг, каких не было даже у попа. У печки, на длинной гибкой жерди, висела

люлька, завешенная платком, которую качала босой ногой круглолицая бабенка с коротким

вздернутым носом и густыми черными бровями, придававшими ей угрюмый вид. Это была

Лукьянова сноха, жена племянника Демьяна, с которым он жил после смерти жены.

Она встала и поздоровалась с гостем.

– Вот, Параска, молодые соты. Снеси, будь ласкова, в камору в новый бочонок. Да как

управишься, нам кусок принеси попробовать. А за ребенком я пока присмотрю.

Он снял свой странный наряд, положил его вместе с шапкой на полку и сел рядом с

Павлом.

– Ну, в чем же твоя туга? – спросил он, когда они остались одни.

Павел не знал, как приступить, и замялся ответом. Лукьян не стал ждать и заговорил сам.

– Вот на ярмарке был, мед и воск продал, и на дело божие потрудиться довелось. Да такой

грех случился: коня свели по дороге. Сказывал тебе Демьян, что ли?

– Сказывал. Уж мы с матушкой сокрушались. Да как же это случилось?

– Да так и случилось, – что тут поделаешь? Со двора, от Хомы-корчмаря свели. Я там два

дня замешкался и недосмотрел. Не до того было. Кого-то нечистый и попутал. Позарился на

чужое добро и увел тайком, – продолжал Лукьян с сокрушением, по-видимому жалея больше о

закоснелости похитителя, чем о своей пропаже. – Хорошо еще, что повозка с кладью наверху

была: не тронули. Племянник подъехал и подвез. Сноха послала, вот эта самая Параска.

Заждалась и послала за мной следом, не случись чего. Со мной каких только случаев не бывало,

– прибавил он с виноватой улыбкой. – Прост я. Не дал мне Бог

ловкости и проворства. Ну да ничего, кое-как справимся. На ярмарке Бог послал хорошего покупателя, хорошо заплатил и под новый мед задаток дал. Без скотинки не останусь. Новообращенные братья ход дали.

– У Хомы обратил? – догадался Павел.

– У Хомы. На ярмарку-то народу много едет. У Хомы набралось человек тридцать. Жатва великая. И все наш брат – мужики. Как это мы убрались, поужинали, я вынул евангелие и стал читать громко. Народ ко мне. Обступили. Дивятся. Иные соблазнились: "Что это, говорят, ты вздумал? Корчма – не церковь, чтоб в ней евангелие читать". А я перелистал это свою книжечку и прочитал им: "Аще где соберутся двое или трое во имя мое, там и я между ними". Вот, говорю, что глаголет Господь.

Лукьян и теперь стоял посреди комнаты, одушевленный воспоминанием. Лицо его преобразилось. Рассеянный, нехозяйственный мужик исчез. Теперь это был пророк.

– Ну, – продолжал он более спокойным голосом, – тут меня обступили еще теснее. "Читай", – говорят. Стал я читать. Слушают. Потом стали спрашивать, что наша за вера и что к чему. И нашла на меня благодать, и открылось у нас собеседование. Иные про пищу телесную забыли, вкусивши пищи духовной. Беседовали мы так до петухов. На другое утро одни говорят: "Едем на ярмарку", а другие: "Ярмарка не уйдет; поговори нам о слове Божием". Толковали мы так еще до вечера. Там меня Демьян и застал. Четверо тут же познали истинную веру и исповедали. И была мне радость великая. Все четверо из одной деревни. К себе звали на праздники. Обещался сам приехать, либо из братьев прислать. Я на тебя тогда же подумал. Не поедешь ли?

– Что ж, я рад, – сказал Павел. – Только сумею ли?

– Сумеешь. Не думай только вперед и не сомневайся. У них большая

деревня, да и в округе три деревни. Я все опросил. И нигде там еще не слыхивали слова Божия. Жатва велика и обильна, а делателей мало. В городе, на ярмарке, тоже сподобился я порадеть о деле Божием. И какая там у нашего Демьяна битва вышла, я тебе скажу!

Он на минуту остановился, и глаза его заискрились детским весельем.

– Ну, расскажи, – полюбопытствовал Павел.

– Продал это я товар, – начал Лукьян, – и стали мы собираться в обратный. Демьян пошел на постоялый, а я думаю, пока что похожу я по ярмарке. И вот обошел я это все поле и думаю: вот съехалось тут сколько народу, и товаров навезли целую гору, а все для суеты и корысти. Ничего для души, точно и души-то бессмертной ни у кого нет, а одна утроба. Вот иду я это дальше, и думаю свою думу, и вдруг вижу в уголке лавка, маленькая такая, не то шалашик, не то палатка – видно, бедный человек держит, – а перед ней, подпертый жердочками, стоит целый ряд икон. Вот, думаю, что тут для души привезено! – Так у меня все внутри и затосковало. Подхожу это я ближе…

Но тут Лукьян вдруг замолчал и засуетился: за дверью он услышал шаги Параски.

– При ней – никшни! – шепнул он Павлу. Параска была всей душой предана Лукьяну, как и ее муж. Но в качестве домовитой и осторожной хозяйки она считала нужным за ним присматривать, чтобы он не спустил всего в доме и не наделал бед. Лукьян ее немножко побаивался.

Она показалась на пороге с деревянной чашкой, в которой лежал небольшой кусочек сота и ломоть мягкого, свежеиспеченного хлеба. Она поставила все на стол молча, с безответным видом умной бабы, которая знает свое место и умеет себя вести при чужих.

– А что, Параска, ведь мед хоть куда. Лучше прошлогоднего, – сказал Лукьян.

– Мед хорош, что и говорить,- отвечала она сдержанно и, поклонившись гостю в пояс,

прибавила:

– Откушайте, милости просим.

Она подошла к люльке. Ребенок крепко спал, раскинувши ручонки и раскрыв мягкий

беззубый ротик, и, к счастью своему, не нуждался в заботах деда. Параска задернула платок от

мух и скромно вышла.

Лукьян выждал, пока шаги ее смолкли, и сказал с добродушной улыбкой:

– Досталось мне от нее за коня, а за иконщика досталось бы и того больше… Ну вот,

захожу это я в лавку,- продолжал он прерванный рассказ, – и вижу: молодой парень, так лет

тридцати, не из наших мест, москвич. Белокурый, и такое у него лицо умильное, вот хоть сейчас

с него икону пиши. И так это я его полюбил сразу, точно он мне брат родной. Поздоровались,

честь честью.

– Что, – говорю, – иконы продаете?

– Не продаю, а меняю, – говорит, он таково с сердцем. – Старый ты, – говорит, – человек, а

не знаешь, что про иконы так не говорят.

Обидел это я его, значит, невзначай. Я-то догадался тут, да свое мекаю.

– Не обессудьте, – говорю. – На что же вы,- спрашиваю, – их меняете?

– Да что ты дурачка из себя строишь. Есть меняло-то у тебя – выкладывай и выбирай, что

хочешь. А нет – проваливай. Нечего нам время попусту тратить.

И так у меня сердце засосало: и что говорит он со мной так не по-хорошему, да и что такой,

видно, хороший человек таким делом занимается. Вынул я мошну, высыпал на прилавок все, что

там было, – бумажки, серебро и все, – и говорю:

– Меняло-то у меня есть. Бери, – говорю, – добрый человек, что хочешь, на здоровье, а

идолов твоих мне и даром не нужно.

Удивился он. Посмотрел на меня так пристально.

– Да в своем ли ты уме? – говорит.

– В своем, – говорю, – не сумлевайся.

– Что же ты, – говорит, – мне такую уйму денег выложил? Ну, как я впрямь тебя

послушаюсь да заберу?

– Что ж, – говорю, – бери, добрый человек. Коли на хорошее пойдет, мне не жалко. Деньги

– тлен. Бог мне дал, Бог и еще даст.

Сгреб он их, подержал в руке, высыпал назад в мошну и мне отдал.

– Мне, – говорит, – чужого не нужно. Да скажи мне, что ты за человек и откуда ты взялся.

Тридцать лет на свете живу, а такого не видывал. И отчего это, – говорит, – ты иконы святых

угодников идолами назвал?

– А читал ты, – спрашиваю, – Писание?

– Сызмальства, – говорит, – любил я читать Писание, потому обучен грамоте.

Ну вот мы с ним и разговорились, и стал я ему говорить от Писания. Он слушает и все

дивуется:

– Как будто, – говорит, – и знакомое, а как будто не то. Где, – говорит, – это найти, запиши,

а я, как домой приеду, справлюсь.

– Зачем, – говорю, – домой ездить, у меня с собой есть. – Вынул я из кармана, показываю.

Смотрит – так точно.

– Вот, – говорит, – диво, сколько раз читал, а не заметил!

Я вижу – забирает, и я ему больше да больше. И насчет священства и насчет церкви и

прочего. Часа два мы толковали. Под конец он говорит:

– Нет, этого дела нельзя так разом решить. Это дело большое. Нужно его доподлинно

разобрать.

– Что ж, – говорю, – заходи вечером. Побеседуем. Говорю это я как будто ничего, а у

самого сердце так и бьется. Зайдет ли, думаю, или нет? Веришь ли, душу бы, кажется, отдал,

чтобы этому человеку просветление сделать.

Подумал это он.

– Нет, – говорит. – Мы уже довольно толковали. Ты лучше вот что: книжку-то мне оставь. Я сам почитаю. А завтра ты зайди ко мне в лавку, а не то на подворье.

– Хорошо, – говорю, – зайду, где ты стоишь? Сказал.

– Спросишь, – говорит, – Степана Васильева. Отдал я ему книжку.

– Зайду, – говорю, – разве что помру до утра.

Так, не прощаясь, я почитай что от него убег. Прихожу к себе на постоялый. А Демьян уже давно коня заложил и меня ждет.

– Отпрягай, – говорю. – Уехать и завтра успеем. Бог мне послал встретиться с человеком одним.

И рассказал это я ему про Степана. Как уж я утра дождался, сам не знаю. Вот иду я к Степану утречком рано, со мной и Демьян. Вижу, во дворе что-то творится: хозяин и жильцы повысыпали на двор, стоят толпой и на что-то смотрят. Что за притча? Подходим, видим: посередине стоит Степан с топором и молотит обухом – что бы ты думал? Икону в серебряной ризе. Это он свою из горницы вынес. Молотит и приговаривает:

– Довольно я тебе поклонялся. Иди на подтопку. Народ, что кругом стоял, сперва только дивился: что это человек ошалел, свое добро губит. А тут разобрали, в чем дело, и кинулись его бить и икону отнимать. Несдобровать бы ему одному против всех. Да тут мы подбежали. А Демьян наш как кинется, да давай народ раскидывать – любо-дорого смотреть. Все так от него и шарахнулись. Откуда, мол, такой Еруслан-богатырь свалился? А Степан, как узнал меня, и говорит;

– Спасибо тебе, добрый человек. Через тебя я свет увидел. Всю ночь, – говорит, – я читал и всю правду понял; все верно выходит по Писанию, как ты говорил.

Народ нас тут обступил, и про икону забыли. Какие такие люди и какая такая правда? Да

хозяин постоялого двора тут вмешался:

– Не позволю, – говорит, – у себя на дворе озорства, этак мне двор запретят держать.

Икону-то он сгреб – серебра на ней рублей на тридцать будет – и за квартальным послал.

– Вот, – говорит на Степана, – святыню нарушает, а эти двое ему подстрекатели и

споспешники.

Ну, повели нас в участок. Кто такие и как? Степана-таки придержали и лавку у него

отобрали. Ну, а нас отпустили. Только имена записали. Дело будет об оказательстве. Вот так-то.

Жатва велика и обильна, а делателей мало, – закончил Лукьян своим обычным текстом. – Ну, а у

вас как? братьев не прибыло ли?

– Все, слава Богу, как ты оставил. А новых никого не прибыло. Тебе одному из нас дано

быть ловцом человеков, – проговорил Павел с чувством.

– Никому это сразу не дается, – заметил Лукьян как бы про себя. – Ну а ты сам как? –

спросил он участливо. – Какое твое дело, что ты со мной посоветоваться хотел?

Павел опустил глаза. Ему снова стало неловко заговаривать о своем сердечном деле, но уже

под влиянием совершенно другого чувства, навеянного на него разговором с Лукьяном.

– Мое дело малое, – сказал он. – Вот как тут с тобой сижу, кажется, что и не говорил бы. А

приду домой, знаю, что не будет мне от него ни сна, ни покою.

Лукьян кивнул головою и посмотрел на молодого парня простым отеческим взглядом.

– Говорить, что ли, или и так знаешь? – спросил Павел.

– Почитай что знаю. Мать твоя как-то заводила речь. Да и сам молод был, знаю. Велика эта

тайна, и от Бога установлено, что одна душа излюбит другую и заключаются они одна в другой.

Говори, не стыдись.

Тогда Павел рассказал ему про свои испытания и горести, про встречу

у Ярины, про

разговор с Галей и про удивительный стих из Библии, который возбудил в нем такую массу

сомнений. Лукьян внимательно слушал, не спуская с него добрых, умных глаз.

– А пробовал ты тронуть ее душу? Говорил ты с ней о слове Божием?

– Пробовал ли? Сколько раз пробовал!

– Ну и что же?

– Одно мне было сокрушение. Не лежит ее сердце к слову Божию. То она, как малое дитя,

ничего понять не может, то, как каменная, ничего не слушает.

– Подожди. Молода еще очень. Может, переменится. "Навряд ли", – подумал Павел про

себя.

– На церковнице жениться нет греха, – сказал Лукьян, угадывая его мысли. – Это чуждаться

их, точно они нечистые, – грех. Мы сами такими были, и отцы наши и матери. Поп, конечно, не

повенчает, – объяснил он,- а у наших единоверцев, немецких пасторов, можно. Поговори с ней

об этом. У меня в Херсонской губернии есть пастор знакомый. Я тебе устрою.

Павел весь просиял и устремил благодарный взгляд на учителя, который так просто

разрешил все его сомнения. Но он вспомнил про старика Карпия: ни за что тот за него Галю не

выдаст, ни с пастором, ни без пастора. Да и Галя не согласится… Лицо его снова затуманилось.

– Нет, это все напрасно… – проговорил он уныло. Наступило молчание, которого ни тому,

ни другому не хотелось нарушить.

– Ну так, значит, твоей беде пособить нечем,- сказал наконец Лукьян. – Это – крест,

наложенный на тебя Богом. Неси его и не ропщи. Кого Бог возлюбит, того и взыщет

испытанием. Помнишь ведь: оженивыйся добре творит, не оженивыйся лучше творит. Может,

тебе назначено служить божьему делу и угождать Богу единому.

Лукьян долго говорил на эту тему. Их беседу прервали новые

посетители: два мужика
вошли в избу и, перекрестившись, по привычке, на передний угол, хотя там не было икон,
поклонились хозяину и его гостю.

Это были православные из соседней деревни. Можно было сразу сказать, что они родные
братья. Один был высокий, с проседью, другой пониже ростом и потолще, лет тридцати.
– Мы к тебе, Лукьян Петрович, – сказал старший. – Рассуди ты нас с братом.
По крестьянской привычке все делать на миру, он принялся, не стесняясь нисколько
присутствием постороннего, излагать свое семейное дело. Они поссорились с братом из-за
наследства. Сперва старший брат говорил один, сдержанно. Потом младший вмешался. Они
заспорили и стали браниться и попрекать друг друга.
Лукьян их унял и стал выпытывать дело. Ему часто приходилось разбирать подобные ссоры
не только между односельчанами, но даже и из дальних деревень.
Павел не стал слушать до конца. Он встал и собрался уходить.
– Что же ты? – спросил его Лукьян.
– Прощай. Спасибо тебе, – сказал он.
Он ушел домой не веселый, но укрепленный и ободренный.

Глава VI

Павел сам мечтал о подвиге, о служении вере, и разговор с Лукьяном оставил глубокий след в его душе. Он готов был пожертвовать для дела Божия всеми земными радостями, и он повторял про себя слова Лукьяна, чтобы полнее ими проникнуться.

Он долго бы остался в таком возвышенном настроении и, вероятно, перемогся бы совсем, если бы после разговора со своим учителем он куда-нибудь ушел или уехал, или как-нибудь мог устроиться так, чтобы не встречаться с Галей, по возможности не слышать, не думать о ней. Но, живя так близко, это было невозможно. Маковеевка была маленький хутор. За всем нужно было ходить оттуда в Книши. На следующий же день, идя в лавочку за солью, Павел увидел Галю, возвращающуюся с поля в толпе. Ему хотелось подойти к ней и хоть поздороваться, но тут к ней подошел Панас, и это его остановило. С Панасом у него наверное вышла, бы стычка, а ему было не до того. Он решился дождаться, пока тот отойдет. Но Панас не отходил всю дорогу. Павел видел, как он проводил ее до дому и долго задерживал ее у ворот.

Через несколько дней Павел увидел Галю у водопоя, куда она с другими девками пригнала скотину. Он вез сено с небольшого лужка, который имел около Книшей, и свернул к колодцу, чтобы напоить и своего коня, и стал ждать очереди.

– Добрый день, Галя, – сказал он.

– Будьте здоровы, – отвечала девушка, едва скользнув по нем взглядом.

Она не обрадовалась встрече, но в ней не было и прежнего задора. Вся она казалась какая-то придавленная.

– Не сердишься на меня? – спросил Павел вполголоса, улучив минуту, когда их не могли слышать.

Она ничего не ответила и только подняла длинные ресницы и устремила на него свои большие серые глаза вопросительно и печально. "К чему? Разве этим поможешь?" – говорил, казалось, этот долгий взгляд.

У Павла все внутри перевернулось от одного этого взгляда. Его прежних решений избегать ее как не бывало. Ему страстно захотелось еще раз видеться с ней, поговорить, попытать в последний раз счастья.

Но ему ничего не удалось сказать ей у колодца. Целый табун телят ринулся к корыту, тесня передних. Галя бросилась загораживать скотину, которая только что припала к воде. Потом, когда ее скотина напилась, она погнала ее домой, задумчиво понурив голову, и не обернулась даже в Павлову сторону.

С этого дня Павел стал искать встречи с Галей. Но то ли она его избегала, то ли случайность, теперь, как на зло, они всегда как-то разминались. Эти неведомые препятствия только раздражали его, усиливая в нем желание во что бы то ни стало повидаться с Галей и переговорить с ней. Он хотел сказать ей о предложении Лукьяна. Теперь он в него верил. Все его прежние сомнения бледнели по мере того, как росло нетерпение. Предложение Лукьяна стало казаться ему теперь не только разумным, но и легко осуществимым, лишь бы ей объяснить, в чем дело, и его приводило в лихорадочное раздражение то, что она теперь от него бегает.

Так прошло четыре дня. В пятницу утром Павел шел вынимать рыбу из ставков, поставленных на ночь в реке, как вдруг он увидел Галю, шедшую с Яриной и другой девушкой с реки, с бельем на коромыслах. Галя шла позади, медленно подвигаясь под грузом, который был у нее тяжелей, чем у других. Завидевши Павла, она еще более

замедлила шаг, точно с
намерением отделиться от передних. Когда они поравнялись, ее подруги ушли далеко вперед.

Но она не остановилась и не сняла с плеч тяжелого коромысла и, как показалось Павлу, даже
насупилась.
– Приходи, как люди отдыхать лягут, на Панночкину могилу, – проговорил Павел
скороговоркой. – Придешь?
Галя колебалась ответом.
– Зачем? – спросила она чуть слышно.
– Нужно что-то сказать. Приходи! – умолял ее Павел. '
– Ну приду, – ответила Галя как будто против воли.
– Спасибо тебе! – воскликнул Павел.
Они разошлись, каждый своей дорогой. Павел пошел, почти побежал к реке, чтобы
поскорей убраться с рыбой. Солнце приближалось уже к полудню и начинало сильно печь, а его
ставки были поставлены довольно далеко вверх по реке, в месте, куда не доходил деревенский
шум и где рыба любила ютиться. Минуя баштаны, он пошел к своему лугу и оттуда сбежал к
густым камышам, которые звонко шуршали на мелком берегу. Раздвинув гибкую поросль, он
добрался до маленького бугорка, который почти круглый год оставался не залитым водою,
осторожно ступая по колючему дну, покрытому острыми камышовыми корнями. Вскоре
поросль кончилась, и он увидел свои три ставка, чуть подымавшиеся над водою.
Улов был счастливый: кроме мелкой рыбицы, в прутьях ставков оказалось четыре карася и
крупный лещ. Павел высыпал добычу в мешок, поставил ставки на бугор и, наскоро одевшись,
пошел домой с влажным мешком на плече.
В Маковеевку можно было пройти берегом и рощею. Но он решился идти через Книши, так
как от церкви была прямая дорога полем по меже.

Однако на этот раз короткое вышло дольше длинного. Едва только он вошел в деревню, как перед ним, точно из земли, выросла коренастая, толстая фигура попа Василия в порыжелой отвислой шляпе и грязном подряснике. Павел попытался было свернуть за первый угол. Но было уже поздно: отец Василий увидел его.

– Ты это что же? стречка дать хочешь от своего отца духовного, чернокнижник ты этакий, – крикнул он на всю улицу. – Видно, совесть не чиста! Поди, поди сюда. Мне тебя-то и нужно.

Нечего делать, нужно было подойти.

Отец Василий был поп старого покроя, добродушный и грубый, давно забывший за хозяйством и водкой ту малую премудрость, которой его пичкали в семинарии. Если бы не длинные волосы и подрясник, когда-то коричневого, а теперь грязно-серого цвета, то его нельзя было бы отличить от простого мужика.

– Ты что же это себе думаешь? Бунтовать? А? Ну да погоди, доберутся до тебя и до Лукьяна, апостола вашего, тоже. Будете вы знать, как народ бунтовать.

– Помилуйте, батюшка, чем же мы бунтуем? – возражал Павел.

– А в церковь не ходишь, причастия не приемлешь, на исповеди не бывал. Разве это не бунтовство? Ты знаешь ли, что тебе за это на том свете будет? В котле со смолой будешь кипеть, горячую сковороду лизать тебя заставят.

Он продолжал некоторое время в том же тоне.

– Бог милостив, батюшка, – добродушно сказал Павел. – Авось да вашими молитвами…

– Молитвами? Да на кой прах я за тебя, за оглашенного, молиться-то стану? – удивился отец Василий.

– Я так, к слову, – оправдывался Павел. – Думал, милость ваша будет. А коли вам недосуг, и на том спасибо.

– Я денно и нощно молюсь, чтобы вас, озорников, леший убрал, – сказал отец Василий. –

Вот что. Одно от вас беспокойство добрым людям. Сколько вас тут, проклятого семени,

развелось, а я за все отвечай! Ты вот у исповеди сколько не был, а?

– Два года, – отвечал Павел.

– Два года, а тебе и горя мало. А я отвечай. Я список архиерею подать должен. А как мне

тебя записать, что ты был, когда ты не был?

Павел молчал. Его очень мало беспокоило, как справиться попу с исповедными списками,

Он думал только, как бы поскорее отделаться.

– Ведь исповедь, – продолжал отец Василий, – от апостол и святых отец установлена во

отпущение грехов. "Покайтеся", – сказано в Писании… Оглашенный ты этакий, ведь не

отопрешься: "Покайтеся, сказано, и принесите плоды, достойные покаяния".

– Мы и каемся, батюшка, да только Богу, – Павел возразил вскользь. – А насчет плодов, –

прибавил он с хохлацким юмором, – мы, батюшка, всегда согласны, потому сказано в Писании:

"Просящему у тебя дай и ищущему не отказывай".

Отец Василий не заметил иронии, а понял только суть и смягчился.

– Щедры-то вы все на посулы, – сказал он тоном добродушного ворчуна, – а как до дела, так

и не укусишь.

Отец Василий посмотрел пытливым оком на влажный мешок на плече своего духовного

сына.

– Что это у тебя там в мешке? – спросил он.

– Рыба, батюшка.

– Рыба? Дело хорошее. А покажи.

Павел раскрыл мешок. Рыба, еще живая, зашевелилась.

– Караси? Хорошее дело караси, – одобрительно заметил отец Василий. – Лещик? и лещик

дело хорошее. Сегодня же кстати пятница, матушке оно и ко двору. А там на дне что? Пескари?

годятся и пескари. Уха хорошая. Снеси-ка ты это все ко мне. Вам, окаянным, зачем рыба? Вы и в

великий пост, не то что в пятницу, скоромное жрете.

Павел не стал возражать и покорно понес свою добычу к попу на двор, благо он был тут. в

двух шагах. Несколько минут они шли вместе. Отец Василий пришел в самое благодушное

настроение.

– А ведь хороший урожай Бог послал, – сказал он.- Яровое так уродило, как десять лет не

было.

– И озимое, слава Богу, ничего, – сказал Павел, чтоб поддержать разговор.

– Правда, и Озимое ничего, – согласился отец Василий и тотчас за тем прибавил: – Как

смолотим, я к тебе дьячка за новью пришлю. Так ты смотри, чтоб уж того, двойная мера была.

Треб от вас, нехристей, нет, так хоть чтобы новью наверстать. Так и своим всем иродам скажи.

– Скажу, батюшка, скажу… – Павел поспешил его успокоить. – И чего это вы все лаетесь,

батюшка? Точно без этого нельзя, – прибавил он с огорчением.

– Ну вот, уж и не выругайся! Сейчас и обиделся,- удивился отец Василий, который

бранился так, по привычке, без всякой злобы. – Брань на вороту не виснет,- пояснил он, – а без

этого с вашим братом никакого сладу не будет.

Они входили в попов двор. Матушка, в синем переднике, с красным от жара лицом,

возилась на кухне. Она очень обрадовалась подарку и хотела поднести Павлу рюмку водки.

Тот отказался.

– Они не вкушают, – сказал отец Василий тоном презрительного сожаления. – Ироды!

Последнее восклицание вырвалось у него нечаянно. Он посмотрел на Павла и, чтобы

загладить свою ошибку, поблагодарил его за рыбу и проводил до ворот.

– Ну уж я тебя, так и быть, запишу в исповедный список. Дешево отделался на этот раз.

– А как же грехи, батюшка, – пошутил Павел, – простятся мне за рыбку? Она, живенькая,

замолит за меня грехи на том свете?

Отец Василий рассердился.

– Ну, ты у меня смотри, язык-то не распускай, – сказал он, грозя ему кулаком. – Я знаю, где

на тебя управу найти.

Он указал на соседний дом, где жил урядник.

– Вот только скажу там слово, живо тебе вспишут. Не обессудьте, батюшка. Это я так

пошутил, к слову, – сказал Павел примирительным тоном.

– Ну то-то же! – сказал отец Василий, успокаиваясь.

Он круто повернулся и, переваливаясь, тяжелой походкой пошел на кухню.

Глава VII

– Ну что? Что он тебе сказал? Что ты ему? – набросилась на Галю Ярина, когда Павел уже скрылся.

– Да отвяжись. Ничего ни он мне, ни я ему,- защищалась Галя.

– Врешь, по глазам вижу, что врешь, – приставала к ней Ярина. – Ведь я тебя не выдам. А коли хочешь, я и помочь рада, чем могу. Ведь выскочи ты за своего штундаря, мне Панас достанется. Я ведь по нем сохну, сама знаешь, – сказала Ярина с веселым смехом.

– А не по его волам да баштанам? – сказала Галя. Ей тоже стало весело от заразительного смеха бойкой подруги.

– Может и так, – смеялась Ярина. – А тебе что? Видишь, я тебе не помеха. Так скажи же, ну же, не ломайся.

– Да нечего же мне говорить. Вот пристала. Долго ли мы стояли? Только и сказал, что ему что-то мне сказать нужно.

– Что же? Что?

– Да я ж почем знаю. Вот как увижусь…

– Так вы, значит, свидитесь! – воскликнула Ярина, вцепившись в нее пуще прежнего. То шутками, то упреками, то просьбами она довела ее до того, что Галя призналась: Павел упросил ее выйти к нему после обеда на Панночкину могилу.

– На Панночкину могилу? – воскликнула Ярина. – Вот выбрал место! Да там и в полдень лешие и черти ходят. Отчего ты ему не сказала, чтоб он ко мне в сад пришел? И ближе и лучше.

– И то правда. Да я не знала, что можно, – пожалела Галя.

– Ну вот уж дура так дура, – сказала Ярина. – В другой раз, смотри, умнее будь. А то на Панночкиной могиле, да еще с некрещеным штундарем, того и гляди черти на тот свет утащут.

Галя засмеялась, но в глазах ее мелькнуло выражение испуга. "А что как взаправду?" – подумала она.

– Ну, я иду, – сказала она после минутного молчания.- Мне трудно тут стоять с тобой язык чесать. Коромысло так и режет.

Ярина тоже пошла восвояси, покоряясь необходимости прервать интересный разговор.

Когда она отошла шагов десять, из-за плетня, у которого они все время стояли, показалась седая голова без шапки, с кошмой седых волос, крупным горбатым носом и огромными седыми усами, которые придавали что-то внушительное, молодецкое всей его крепкой, стройной фигуре.

То был старик Охрим Шило, отец Панаса. Когда-то он был первый забияка в округе. Молва приписывала ему немало темных подвигов, и ему удалось уцелеть только благодаря особой пронырливости и изворотливости, за которые ему и дали прозвище Шило. Охрим, впрочем, уже лет двадцать пять как остепенился и зажил хозяином. Он женился на богатой и успел овдоветь и теперь считался первым богачом в округе. Он торговал скотом и снимал большие баштаны и вообще стал мирным торгашом и земледельцем. Только по огонькам, вспыхивавшим в острых, как у ястреба, глазах, сверкавших под нависшими, почти черными бровями, можно было догадаться, что в этом старике все еще жил бес.

Такой именно огонек загорелся в глазах старого Охрима, когда он посмотрел вслед удалявшейся Ярине.

– Вишь ты, на Панасовых волов зарится, – сказал он про себя, – юла черноглазая. А Панаску нужно-таки с той овечкой поскорее окрутить. Так-то вернее.

Он нагнулся снова над грядкой мяты, которую вышел прополоть перед обедом, и дополол

ее таки до конца. Но тут он не выдержал. Он пошел в дом и приказал наймичке, чтоб в минуту

обед был готов. Наскоро перекусив, он пошел в. каморку, где стоял сундук с его платьем. Здесь

он оделся в новый синий кафтан с золочеными пуговицами, надел новые сапоги с красными

отворотами, привел всего себя в порядок и, надвинув на брови смушковую шапку, отправился к

Карпию с дипломатическим визитом.

У Карпия на стол еще не накрывали. Галя вернулась поздно с реки, а Карпиха была

большой копуньей, и на то, что другая баба сделала бы в час, ей нужно было два.

Галя возилась у печки, пробуя, не поспел ли картофель, чтобы накрывать на стол, как,

выглянув в окошко, она увидела входящего в ворота гостя.

– Тато, Охрим идет! – сказала она.

– Эх его нелегкая принесла! – проговорил Карпий.- Людям обедать, а он в гости!

Он вышел, однако, на крыльцо навстречу гостю.

– Добро пожаловать, Охрим Моисеич. Милости просим в горницу.

На лице Карпия не было следа раздражения. Он был весь вежливость и гостеприимство. К

тому же его любопытство было задето. Охрим зашел, очевидно, неспроста, иначе он бы так не

выряжался, а по какому-то важному делу.

– Спасибо за вашу ласку, Карпий Петрович, – отвечал Охрим, низко кланяясь.

– И за вашу спасибо, Охрим Моисеич, что прозе-, дать зашли.

Они вошли в избу. Карпий усадил гостя в почетном углу, а сам сел насупротив на

деревянной скамейке.

– Откуда Бог несет? – спросил он.

Это значило: зачем изволили пожаловать, но прямого вопроса не позволял деревенский

этикет.

– Вот к попу собрался, – сказал Охрим, оглядывая самого себя. – Нужно рассчитаться с ним.

Так я хочу того, поторговаться.

"Ну что ты врешь, к попу ты не собирался, – подумал про себя Карпий. – Коли б хотел торговаться с ним, пошел бы с вечера, когда отец Василий успеет напиться пьян и становится сговорчив, а не среди белого дня, когда он еще трезв и копейки не скинет".

– Известно, нужно поторговаться, кому же охота свое добро зря отдавать, – сказал он громко.

Он заговорил об урожае, о ценах на хлеб в городе, не спуская с гостя внимательных своих маленьких сереньких глаз.

Вошла Галя и остановилась у порога.

– Чего тебе? – обратился к ней отец.

– Мама велела спросить, накрывать ли на стол, или подождать, – сказала девушка.

– Накрывай, накрывай! Люди давно отобедали, а мы только за стол садимся, – сказал он укоризненно.- Дочка на реку с бельем ходила, а старуха у меня, что некормленая лошадь: шаг сделает и пристанет, – пояснил он гостю, чтобы не уронить дочки в его глазах.

Охрим сделал снисходительный жест и встал из-за стола.

Карпий стал упрашивать Охрима отобедать с ними. Но тот из вежливости отказался.

– Ну так чайку напьемся после обеда, – предложил Карпий.

Охрим согласился и, усевшись поодаль у окошка, чтобы не мешать, стал ждать чаю. Это окончательно убедило Карпия, что он пришел неспроста.

Обед продолжался недолго и прошел почти в полном безмолвии. Говорил почти один Охрим, рассказывая про плутни деревенского начальства и глупость старшины, с которым был не в ладах, потому что сам метил в старшины. Карпий со старухой ели медленно, истово, изредка отвечая Охриму односложными замечаниями. Галя прислуживала и то вставала, то подсаживалась и бралась за ложку. Но она ела только для виду, потому

что догадывалась, зачем пришел старый Охрим, и волновалась страшно. Карпий тоже кое-что слыхал и был возбужден, хотя об этом трудно было догадаться, так солидно крестил он хлеб ножом, прежде чем отрезать ломоть, и так торжественно и угрюмо жевал, кладя каждый раз ложку на стол. К чаю бабы допущены не были. Поставив на стол кипящий самовар и все нужное, они удалились, чтобы не мешать старикам.

– Мамо, голубка! – воскликнула Галя, бросаясь на шею матери. – По мою душу пришел старый! Чует мое сердце.

– Что ж, дочка, чего ты испугалась? Тебе уж и так давно замуж пора. Все уж повыходили. Не век же тебе девовать…

– Мамо, мамо, не говорите. Не хочу я. Не хочу! Ох, пропала моя головушка.

Она дрожала всем телом и прижималась к матери, точно цыпленок, ищущий защиты от коршуна.

Жилистой узловатой рукой мать погладила ее русую головку.

– Что ты, дочка? Господь с тобою, – повторяла она. – Ведь не за себя старый взять тебя просит…

Галя отчаянно замотала головой и залилась слезами.

– Ах ты бедная моя! – безнадежно проговорила мать. – Как же мне помочь тебе, родная моя? Ума не приложу.

– Мамо, голубка, отпустите меня. Мне нужно, нужно. А коли тато закличет, скажите, что вы меня услали – в лавку, на речку, куда хотите…

– Иди, иди, моя ясочка, уж я скажу. А коли разбушуется – перетерплюсь. Ничего. Иди, иди. Ты у меня одна.

Галя порывисто встала, утерла слезы и, накинув безрукавку, шмыгнула в сад, а оттуда через соседние ворота на улицу, чтобы как-нибудь отец не углядел ее в окошко и не остановил.

А старая Карпиха осталась на призбочке, долго сидела опустив руки, от времени до времени покачивая седою головою и бормоча что-то про себя. Она знала сама, что значит выйти замуж по чужому приказу, и не любила ни старика Шила, ни Панаса, потому что знала, что оба они не добрые. А Галя так привыкла к доброте и ласке! Но ни расстроить подозреваемого сватовства, ни пособить дочке она ничем не могла. Это зависело от стариков. Она прислушивалась к каждому звуку, доходившему до нее из той комнаты, где решалась участь ее дочки. Долгое время оттуда ничего не было слышно, кроме предсмертного писка потухающего самовара да мерного сопения двух стариков, которые тянули из блюдечек горячую желтенькую водицу, осторожно откусывая от времени до времени по зернышку от кусочка сахару.

Приступить тотчас к оживленному разговору значило бы недостаточно ценить угощение и не понимать торжественности чаепития.

В качестве хозяина Карп прервал молчание.

– Славные у вас нынешний год кавуны будут, Охрим Моисеич, – сказал Карпий. – Не одну сотню небось присыпете в бочонок.

– Какие уж у нас сотни да бочонки! – с кроткой улыбкой отмахивался Охрим. – Лишь бы концы с концами сводить. Вот у вас, Карпий Петрович, землица – точно клад. Смотрел я намеднись ваш тот поемный лужок, рядом с моим баштаном. Что за земля! Вот, думаю, коли б этот лужок хоть детям моим достался, так мне бы, кажется, помирать легче было.

Карпий встрепенулся и навострил уши. Он ждал, что после этого предисловия Охрим приступит к сватовству. Но старый Шило вильнул в сторону.

– А что, Карпий Петрович, не продадите ли мне лужка? Я бы хорошую цену дал.

"Врешь ты, старая лисица, – подумал про себя Карпий, – не нужно

тебе моего луга".

Но он не выказал никакого разочарования и сказал как ни в чем не бывало, смотря гостю прямо в глаза:

– За пятьсот рублей для вас, Охрим Моисеич, так и быть уступлю.

Цена была совершенно несообразная. Они оба это знали.

Охрим вздохнул и посмотрел в сторону.

– Нужно подумать, – проговорил он и заговорил о тяжелых временах, о недостатке сбыта и о сбивании цен.

Потом, перейдя вдруг в совершенно конфиденциальный тон, он заговорил о том, как ему трудно одному за всем усмотреть, и стал жаловаться на сына, который совсем от рук отбился и только и делает, что бегает за девками.

– Женить его хочу. Тогда остепенится, – закончил Охрим.

Это уже значило – подойти к делу совсем близко. Но решительного слова еще не было сказано, и Карпий остался настороже.

– Хорошее дело парня женить, – сказал он спокойным, рассудительным тоном, точно его дело это нисколько не интересовало. – Уж от жены не побежишь к девкам. Бабы проходу не дадут, да и девки пряслами голову проломят. Оно для хозяйства-то и сподручнее – хе-хе.

Карпий стал смеяться, трясясь всем своим толстым телом. Но он, однако, не спускал взгляда с Охрима.

"Да ну же, старый, развязывай язык, ну!" – говорил этот взгляд.

Но старую лисицу не так-то легко было поймать.

Охрим прикинулся вдруг простачком, который ничего не понимает. Он стал рассказывать в подтверждение слов Карпия про себя самого и свою покойницу жену – какая она была хорошая хозяйка, как будто это было кому-нибудь интересно, и в заключение опять вернулся к покупке лужка.

– А что, скажите, какая-таки ваша настоящая цена будет, Карпий

Петрович? Я бы купил.

– Что ж. Для вас сотню скину, – сказал Карпий с недоумением.

"А ну как взаправду старый на луг разохотился. Пусть дурень платит".

– Ну что вы. Где же за такой клочок такую уйму. Двести, так и быть, дам, – сказал он.

Это было все-таки дороже, чем земля стоила, и Карпий убедился, что Охрима взаправду

засосало по его земле. Он начал торговаться всерьез. Охрим еще накинул, Карпий спустил и

пришел понемногу в азарт.

Но в самый разгар торга Охрим задумался и проговорил, точно что-то соображая:

– А знаете, что я надумал, кум: выдайте вы свою Галю за моего Панаса. Тогда все наше

добро ихним общим будет.

Предложение вышло совершенно неожиданно. Как Карпий ни готовился и ни держал себя

настороже, оно застало его врасплох, и он не сумел скрыть своего огромного удовольствия при

исполнении своей заветной мечты.

Старая лисица таки перехитрила. Ломаться и тянуть было бесполезно.

– Что ж, я не прочь, – проговорил он, как мог спокойнее, стараясь не глядеть в глаза

Охриму. •- Только как насчет приданого?

– Э, что об этом говорить, кум. Уж я вас не ограблю, – добродушно проговорил Охрим.-

Дайте вот тот лужок, да волов три пары, да коней пару, да мелкого скота пар шесть, да деньгами

триста рублей на новую хату.

– Ну и заломил же ты, кум! Не лучше татарина,- воскликнул Карпий с истинным

негодованием. Но он тотчас поправился и прибавил политично: – Да у меня и денег таких нет.

Разве себя со старухой заложим.

– Что вы, кум, – у вас денег нет? – с мягким смехом сказал Охрим. – Да вы всю деревню

купите, коли захотите.

– Нет, – сказал Карпий твердым и решительным тоном, в котором не

было теперь и следа

политики. – Не дам и половины. Вот тебе и весь сказ. И не трать ты лучше слов попусту.

– Как угодно. Дело полюбовное, – сказал Охрим.

Он опрокинул выпитую чашку и положил на донышко недогрызенный кусочек сахару в

знак того, что чаепитие кончилось.

– Что же вы, откушайте еще, – приглашал его Карпий. – Эй, Галя, Авдотья, кто там? –

крикнул он, высовываясь в дверь, – поставьте новый самовар, да сахару еще принесите, да

лимончику. Да чтобы мигом.

Карпий вовсе не был обижен или удивлен жадностью свата: дело житейское – всякому

хочется урвать с ближнего, что можно. Он вовсе не имел в виду прерывать переговоров и хотел

только поторговаться.

Они закурили трубки, уселись рядом и стали мирно беседовать о посторонних предметах.

Самовар между тем был долит и снова зашумел на столе. Чаепитие возобновилось. Они уже

выпили по двенадцати чашек, но вместительность их желудков, казалось, не имела пределов.

Они принялись за новый самовар с удвоенной энергией и пили упорно, торжественно,

перекатывая глаза от блюдечка, и когда не молчали, то тщательно избегали всего, что касалось

бы занимающего их дела.

Слово было сказано. Хитрить и скрытничать было уже бесполезно. Теперь вся задача

состояла в том, чтобы пересидеть друг друга, как барышники, торгующие лошадь, и не

обнаружить первому признака нетерпения. И вот они сидели, пили, потели и ждали, кто первый

поддастся. Но не поддавался ни тот, ни другой. Охрим сопел, прихлебывал чай, опустошая

чашку за чашкой, и в качестве бывалого человека рассказывал разные разности, а о деле ни гугу,

точно он и думать о нем забыл. Карпий кряхтел, пыхтел, утирался

рукавом рубашки и делал вид,

что как нельзя более заинтересован разговором, и тоже о деле ни гугу.

Они могли бы просидеть так до сумерек и разойтись ни с чем и встретиться другой, третий

раз и продолжать то же переливание. Но случайно Охрим выглянул в окошко и заметил, как в

калитку шмыгнула женская фигура. Он подумал в первую минуту, что это Галя. Но фигура

сделала несколько шагов, и он тотчас узнал Ярину.

"Что она тут делает?" – подозрительно подумал Охрим. Он спросил у хозяина, часто ли она

к ним ходит.

– Ярина-то? Да почитай никогда не ходит. А что?

– Да ничего. Она только что вот из вашего дома вышла.

– Бабьи дела! – отвечал Карпий пренебрежительно. – Им бы только посудачить да языком

помолоть.

Но Охрим его не слушал. Вид Ярины раззадорил, его и лишил его обычного самообладания.

– Ну, так как же? – проговорил он, не выдержав роли, хотя он и знал, что каждое слово,

выскочившее из-под его седых усов, обойдется ему по крайней мере в пару волов.

"Пересидел меня, толстый кабан!" – выругался он мысленно.

Но делать было нечего. Слово не воробей: вылетит, не поймаешь.

– Так как же, Карпий Петрович? – чистосердечно повторил Охрим.

– Что ж, я рад, Охрим Моисеич. Да вот приданое того…

– Скажите ж, Карпий Петрович, что вы положите, – доверчиво спросил Охрим.

– Гм, это надо подумать, – отвечал Карпий и, вынув трубку, стал набивать ее табаком.

Охрим тоже закурил.

– Плахту новую, да еще плахту, да третью с голубыми разводами, да безрукавок две,

полотна пять кусков… – Карпий стал подробно перечислять гардероб дочки.

Охрим слушал терпеливо, посасывая трубку и кивая одобрительно головой, хотя оба они

знали, что Карпий говорил сущий вздор: бабий снаряд был собственностью девушки, плодом ее

зимнего труда, и ни отец, ни мать не имели права задержать его.

– Ну а по хозяйству? – почтительно спросил Охрим, когда Карпий, кончивши перечень,

замолчал.

– Пару волов, да корову, да деньгами двадцать пять рублей.

Охрим горестно вздохнул.

– Что ж люди скажут, Карпий Петрович, что вы свою дочку, точно нищую, замуж выдаете,

– проговорил он огорченным голосом.

Карпий крякнул и приосанился.

– Ну, этого про меня не скажут… Я рыжую кобылу прикину. Она к осени с жеребенком

будет. Славная кобыла. Да овец пары две. У меня хорошие овцы.

– Хорошие-то так, да какая же цена овце? Это разве скотина?

Начали торговаться с паузами, с подсиживаниями, пока второй самовар не пришел к концу.

Карпий хотел заказать третий, но Охрим встал и сказал, что ему домой пора.

Карпий не стал его задерживать. Деревенский этикет не позволял кончать такие дела разом.

– Ко мне милости просим, – пригласил его Охрим.

– Благодарю на ласковом слове, кум. А я пока с старухой да с дочкой поговорю. Нужно

дело по-божески.

Это был предлог, дававший возможность оттягивать и торговаться. Карпий не допускал и

мысли, что кто-нибудь осмелится перечить его воле.

– Так, так, – соглашался Охрим. – Нельзя теперь без этого. Это прежде так было: что

старший прикажет, тому так и быть. А теперь молодые все хотят по-своему.

– Ну, моя не такая, – Карпий вступился.

– Знаю, а все не говорите. Молода она. А тут разные люди. Долго ли девке голову скрутить?

– Что ты врешь, кум? Какие такие люди? Кто ей голову крутит? – вскинулся на него

Карпий.

Охрим подошел к нему ближе.

– Не гневайтесь, кум, я вам по-родственному. Есть тут штундарь, Павел маковеевский,

знаете небось? Так вот, вы спросите-ка, зачем Ярина к вашим бегает, да и Галя не к нему ли

теперь ушла?

Карпий опешил и потерял разом весь апломб.

– Девке вольно с кем хочет дружбу водить, хоть с штундарями. А насчет чего – дочка моя…

– Что вы, что вы, кум, точно я не знаю, – перебил его Охрим. – А все-таки им воли много

давать не след.

– Авдотья! – крикнул Карпий таким голосом, что старуха точно угорелая вбежала в

горницу.

– Пошли сюда сейчас Галю, – приказал он. – Вот Охрим Моисеич ласку нам показал.

Сватает ее за сына.

– Галя… – лепетала старуха, растерявшись, – ушла… то бишь я ее услала…

– Куда? – крикнул Карпий, наступая на нее грозно.

– К… к попу! – вырвалось у Авдотьи. Карпий рассмеялся, и гнев его спал.

– Что ж больно поторопилась, – сказал он. Охрим тонко улыбнулся.

"Видите, моя правда вышла", – говорила его улыбка. Карпий сделал ему левой рукой

успокоительный жест: "Не беспокойтесь, мол, у меня все будет ладно".

– Так милости просим ко мне, – сказал Охрим, отвешивая прощальный поклон.

– Спасибо на ласковом слове, – повторил Карпий. Охрим еще раз низко поклонился и ушел

домой, очень довольный собою.

Глава VIII

Большая столбовая дорога шла из Книшей на восход солнца, сперва полем, а там старым
ореховым лесом. Тут она загибалась немного к югу, но не касалась Маковеевки, которая
оставалась верстах в двух от главного тракта. Проезда на деревню отсюда не было, потому что
между Маковеевкой и дорогой тянулся вдоль леса глубокий овраг, размытый осенней водой,
через который и пеший мог перебраться не без труда. Узкая тропинка соединяла оба берега,
извиваясь по крутым скатам. Но маковеевцы не любили ходить по ней, разве что днем, да и то
по нужде, и во всем околотке не было смельчака, который решился бы пройти по ней ночью,
когда вся бесовская сила Божиим. попущением вырывается из преисподней и получает власть
чинить всякие каверзы православным. Довольно давно, лет сто тому назад, страшное
преступление было совершено в этом овраге. Крест был поставлен, по обычаю, над тем местом,
которое было облито кровью убитой панночки. Крест этот успел давно повалиться, и самый
бугор, на котором он стоял, давно смыло весенними разливами. Но в деревне сохранился
прежний ужас к этому месту во всей свежести, и нередко запоздалые ездоки, проезжая мимо
проклятого места, слышали ясно, как в овраге кто-то воет, в плачет, и хохочет. И проезжий,
замирая от ужаса, гнал во всю прыть коня, и долго еще раздавался у него в ушах дикий смех и
раздирающий вой, и он не смел обернуться и жался ко дну телеги, ожидая, что вот-вот его
схватит сзади косматая лапа. Пастухи, выходя в ночное, далеко обходили Панночкину могилу,
хотя нигде не было такой роскошной травы, и даже порубщики не

соблазнялись прекрасным

дубом и орехом, которые росли в урочище, охотнее рискуя попасться в руки лесного сторожа,

чем встретиться, пожалуй, лицом к лицу с нечистым.

Не тревожимая человеком природа целиком завладела этим местом, и ее пышный расцвет в

необычайная мощь поражали глаз и воображение, усиливая впечатление какой-то таинственной,

невидимой силы, которая где-то тут гнездилась. К этому-то месту и спешила Галя по только что

скошенному овсяному полю, проворно шустая босыми ногами между щетиной жнитва,

щекотавшей ее привычные подошвы. Она торопилась попасть на свидание, так как сильно

запоздала уже, но понемногу шаг ее сам собою замедлился.

Жара стояла нестерпимая. С середины безоблачного неба свирепое украинское солнце,

казалось, лило на землю потоки жидкого огня, который, отражаясь от серой, точно посыпанной

пеплом, земли и от белого жнитва, палил ей лицо, и руки, и босые ноги. Все замерло в природе.

Птицы не решались покинуть гнезда, где они лежали как одуревшие, широко раскрывая зобы.

Даже мошкара куда-то попряталась и не мучила ни людей, ни животных. Только кузнечики,

казалось, упивались этим удушающим зноем и стрекотали наперегонки, весело, назойливо,

точно потешаясь над всем, что изнемогало, и задыхалось, и мучилось.

"Ах, до лесу добраться бы только!" – думала Галя. Ее волнение улеглось, было забыто. В

такую жару было невозможно волноваться и думать' о чем-нибудь, кроме избавления от

невыносимого физического мучения. Однако она все-таки не пошла на самую Панночкину

могилу, которая была, ближе. Ей было страшно даже днем, да и змей она боялась, я их там

водилось многое множество. Она забрала немного правее, в сторону большой дороги, сообразив,

что Павел будет высматривать ее с этой стороны.

Кое-как добралась она до опушки и вошла в лес. После палящего зноя поляны ей показалось, что она попала в рай. В густой сухой тени вековых деревьев было свежо. Она села под дубом, и ей стало так хорошо, что ей не захотелось никуда двигаться.

– Не мне его искать, а пусть он меня найдет! – сказала она, нежась с улыбкой на мягком мху, который поднимался по бугристому подножью великана.

Однако она осмотрелась кругом: Павла нигде не было. "Сейчас придет", – подумала Галя.

Она легла на землю, припав лицом к траве, с любопытством всматриваясь в деятельную жизнь, которая незаметно шла в этом маленьком мирке. Она смотрела долго и понемногу забылась, и мысли ее спустились в этот микроскопический мирок, где букашки казались ей людьми, маленькие комочки земли – высокими горами, а стебли травы – могучими деревьями.

– Ах, да что же это Павел не идет? – вдруг опомнилась она и вскочила на ноги. Она посмотрела на солнце: было уже часа два пополудни. Через полчаса народ встанет от послеобеденного сна и пойдет на работу, а Павла все нет. "Неужто забыл?" – подумала Галя, хмуря свои соболиные брови. Она еще раз осмотрела все кругом. Над нею ветвистые деревья раздвигали свои густые куполы в неподвижном, как будто оцепеневшем воздухе. Кое-где сквозь частую листву виднелись кусочки неба, но дальше, ближе к оврагу, зеленый свод становился сплошным; стволы деревьев сливались глубокой убегающей стеною, которая отрезывала от всей веселенной. Гале показалось, что она очутилась где-то далеко, далеко от дома и деревни, и лес охватывал ее своей таинственной атмосферой, и сердце ее начинало биться сильней, и она робко озиралась; ее напряженный слух ловил тихий трепет листьев и

стрекотание невидимых

насекомых – таинственные голоса леса, гулко разносившиеся под его густыми сводами. Она

знала, что идет по направлению к Панночкиной могиле. Но она не могла удержаться. Ее влекло

вперед любопытство, упоение суеверным страхом и жажда чего-то необычайного.

Наконец она подошла к самому обрыву и с замиранием сердца посмотрела вниз. Перед нею

был дикий заколдованный овраг. Громадные купы шиповника, похожие на осевшие стожки

сена, отделялись серо-зелеными пятнами на темной зелени крапивы. Ореховые кусты теснились

у подножья дубов великанов, и казалось, вот-вот достанут, дорвутся они до его развесистого

купола. Гигантские папоротники широкими опахалами поднимались из влажной почвы, а на

южном солнечном склоне среди густого мечевика наливались толстая сочная цикута, и

жилистый молочай, и серая унылая полынь.

Гале было жутко и весело. Она нагнулась вперед и, раздвинув кусты, нашла глазами бугор

земли, где стоял когда-то Панночкин деревянный крест. Тут-то собиралась по ночам всякая

нечисть. В воображении у нее пронеслись деревенские поверья, связанные с памятью об этом

месте. Она вспомнила Авдюшку-юродивого, про которого недавно повторяли рассказ на

посиделках у Ярины. Ей живо представилась глубокая полночь, зарезанный баран, заблеявший

на плечах у Авдюшки, мертвое тело, в которое он обернулся.

Вдруг, в двух шагах от нее, точно над самым ухом, раздалось отчаянное блеяние и что-то

шарахнулось в кустах. Вся кровь застыла у нее в жилах. Она хотела бежать, но от страха у нее

подкосились ноги, и она упала бы вниз, если бы ее не удержали сильные руки Павла, который

как раз подошел к ней в эту минуту. Она рванулась от него в ужасе, не узнав его в первую

минуту."
– Галя, голубка, что с тобой? – спросил он.
– Там, слышишь, заблеяло, – лепетала она, показывая рукой на кусты и тараща испуганные
глаза.
– Ну так что ж, чего ты испугалась? Это барашек заблудился, – успокаивал ее Павел.
Галя стала приходить в себя. С Павлом ей не было уже так страшно.
Заблудившийся барашек, произведший такой переполох, увидев людей, подошел к ним и
стал тереться около юбок Гали, потом, отойдя в сторону, он ни с того ни с сего вдруг
подпрыгнул и заблеял снова, на этот раз от удовольствия.
Галя засмеялась.
– И напугал же он меня, поганец, – сказала она. – Чего ты так долго не приходил? –
обратилась она к Павлу с нежным упреком. – Я все глаза высмотрела, тебя дожидаючи. Как тебе

не стыдно.
– Прости меня, родная моя, – сказал Павел, целуя ее. – Нельзя было прийти.
– А что такое? – спросила Галя.
– Да разве тебе Ярина не сказала? – удивился Павел. – Я к ней заслал, наказывал тебе
передать, что нам сегодня нельзя свидеться. Разве она у тебя не была?
– Верно была, да не застала. Я сейчас после обеда ушла. Ну да все равно, раз ты сам тут. Я
уж думала, что совсем тебя не увижу.
– И я не думал, пташечка моя. Я так пришел – походить по траве, где ты своими
ноженьками ступала.
Он взглянул на ее босые ноги и заметил на левой царапину.
– Бедненькая, ты оцарапалась, – сказал он нежно. Он усадил ее на повалившийся старый
ствол, снял барашковую шапку, которую носил и летом и зимой, и вложил в нее обе ее
маленькие ножки.
– Вот так им мягче будет, – проговорил он.

Галя не сопротивлялась и смотрела с улыбкой на его хлопоты. Он сел с ней рядом и обнял ее одной рукой.

– Какая ты добрая да хорошая сегодня, – сказал он. – Знаешь, когда я тебя не вижу, я все о тебе думаю, что краше тебя на свете нет, и говорю я тебе тогда всякие хорошие слова. А как увижу тебя, боюсь до твоей белой ручки дотронуться. А сегодня ты такая добрая, и я смелым стал.

– Так ты меня боишься? Хорошо же, я буду помнить, – смеялась Галя и потом вдруг задумалась.

В лесу стало как-то удивительно тихо. Деревья, залитые солнцем, казалось, нежились в горячем неподвижном воздухе. Из оврага несло пахучею сыростью. Аромат полыни и душистой кашки смешивался с густым опьяняющим запахом цикуты, который бил в голову и шевелил мечты.

– Пойдешь за меня, Галя? – тихо спросил Павел.

– Чего спрашиваешь? Не видишь разве сам, что пошла бы… если б только…

– Если б что? Тато позволил?

– Нет, не тато… Сам знаешь что… – сказала Галя, поникнув головой.

Павел вздохнул.

– Знаешь, Галя, отчего я не мог прийти к тебе сегодня? – спросил он.

– Как же мне знать? Я ж тебе сказала, что Ярины твоей не видала.

– Лукьяна увезли в тюрьму, – сказал Павел, пристально смотря на нее.

– Ах, боже мой! – воскликнула Галя.

– Сегодня в обед, – продолжал Павел. – Приехал из города исправник с каким-то чиновником и увезли и в кандалы заковали. Такого-то человека! Точно вора и разбойника. Наши собрались, так и попрощаться не дали. Грозиться стали, что такому, мол, злодею показали участие. Староста сказывал, не видать нам его больше вовеки. В Сибирь сошлют, наверное.

– В Сибирь? За что же? Что же он худого сделал?

– За проповедь правды Божией пребывающим во тьме духовной, – произнес Павел торжественно.

Он принялся рассказывать ей про апостольское служение своего учителя. Под свежим впечатлением разлуки с подвижником он говорил горячо, с одушевлением, думая тронуть ее сердце.

Но Галя слушала равнодушно, глядя куда-то вдаль. Ей жалко было старика Лукьяна, который никому не сделал ничего худого, но к вере их она была холодна. "Какая это правда

Божия? Сами выдумали и сами мучаются неведомо за что и к чему", – говорила она про себя, и лицо ее хмурилось, и слезы показывались на глазах, когда она думала, что и Павла туда же тянет.

Павел между тем, одушевляясь все больше и больше, видя ее волнение, взял ее за руку и сказал:

– Галя, переходи к нам!

Она подняла на него взгляд, полный такого удивления и недоумения, что он выпустил ее руку и замолчал.

– Ну, повенчаемся так, – сказал он после некоторой паузы. – Я тебя буду любить все равно. Я сватов зашлю. Ничего за тобой просить не стану. Сам все отдам, коли захочет. И ты с ним поговори. Попроси. Может, он нас и благословит.

– Да как же нам венчаться-то, – спросила девушка, – коли ты в церковь не хочешь идти? Да и поп не повенчает.

– По-нашему повенчаемся. Коли хочешь, к немецкому попу пойдем. Они там ставленые по закону и в книги записывают.

Он объяснил ей предложение Лукьяна. Галя покачала головой.

– Какое же это венчание? – сказала она.

– В чужих землях все так венчаются, – возразил Павел.

– Там все нехристи. А я крещеная.

– Да и я крещеный, и мы все, – с отчаяньем вскричал Павел.

– Ну, а покажи крест! – сказала Галя.

– Мы не носим крестов на шее, но у нас крест в душе, – Павел силился объяснить ей.

– Ну вот. Я же говорила! – воскликнула Галя. – Как же мне идти за тебя, когда ты некрещеный?

Объяснять было бесполезно. Павел опустил руки.

– Не любишь ты меня, вот что! – сказал он с горечью.

Галя припала ему к плечу, и крупные слезы закапали у нее из глаз.

– Старик Охрим зашел к нам перед тем, как я уходила. Такой нарядный. Заперлись с отцом.

Видно, недаром. Уж я знаю, о чем они говорят. Пропадать мне совсем.

Павел обнял ее и стал целовать ее наклоненную головку. Галя подняла на него свое заплаканное лицо и устремила на него пытливый долгий взгляд. Но глаза его смотрели грустно и упрямо. Она не прочла в них желанного ответа. Голова ее упала снова, и пуще полились слезы.

– Нет, значит, нам счастья от Бога, – проговорил Павел.

С крестьянской покорностью судьбе он покорился своей горькой участи.

Он заговорил о постороннем. Стал расспрашивать про дом, про мать. Она отвечала ему сначала односложно, потом разговорилась. Долго сидели они. Жара успела спасть. Солнце спустилось на полпути до заката, а они все сидели и разговаривали, и не хотелось им расставаться. Раздался пастушечий рожок. Скотину выгоняли.

– Пора! – сказала Галя. – Не поминай меня лихом. Он не стал ее задерживать; нужно было и ему идти домой на работу".

Он проводил ее до опушки, и здесь они обнялись и попрощались, как родные расстаются перед вечной разлукой.

Глава IX

В то самое время, как Павел хороводился со своим отцом духовным, вымащивая карасями свой путь ко спасению, к одинокой пасеке старого штундиста подъезжали две повозки. В первой сидело двое жандармов; во второй ехали молодой консисторский попик и чиновник в форменной фуражке. Старшина Савелий трясся на облучке рядом с кучером. Его вызвали в город нарочно, чтобы консисторским посланцам не было хлопот с разыскиванием сельского начальства на месте.

– Вот здесь,- неохотно указал рукою Савелий, останавливая повозку в виду знакомого нам домика.

Вся компания слезла и вошла в дом. Лукьяна не было в избе. У печки хлопотала Параска, которая, завидев незваных гостей, входивших во двор, опрометью бросилась из избы искать Лукьяна. Он работал на огороде, любовно обсыпая мягкой землей корни молоденьких жасминов.

– Что случилось? – спросил он испуганно, увидав бледное лицо Параски.

– Батюшки! Солдаты пришли по тебя. Поп и чиновник с ними. Староста Савелий привел.

Лицо Лукьяна сейчас же приняло спокойное, несколько торжественное выражение.

– За мной, значит! – сказал он серьезно.

Он помолчал с минуту, бросая как бы прощальный взгляд на все эти дорогие его сердцу и им выхоленные растения.

– Братьям от меня поклонись, – сказал он скороговоркой. – Скажи им, чтоб не унывали и не огорчались. Бог всегда со мной – чего убоюся? Да присмотри без меня, – прибавил он, – вот за

цветком. Цветки – дар божий. Краше Соломона во славу его одевает он их. Да за скотинкой и пчелками. Тварь немая – она не скажет. А теперь пойдем.

Он пошел вперед к дому. Параска следовала за ним.

– Коли что спрашивать станут, – шепнул он, оборачиваясь к ней на ходу, – если насчет веры, – отвечай, как Бог на душу положит. А если насчет братии – ни гугу. Скажи, что ты в эти дела не вхожа.

Они вошли в дом, где уже хозяйничали гости, осматривая книги и шаря во всех углах.

Обыском руководил отец Паисий, молодой попик, воротило консистории, которому поручено было присмотреть, чтобы при обыске у штундистского апостола полиция чего-нибудь не пропустила и чтоб опрос односельчан был произведен в каком следует духе. Он должен был кстати повидать отца Василия насчет кое-каких просроченных взносов в консисторию.

Паисий был белокурый молодой человек с маленькой лисьей мордочкой, кроткими голубыми глазками и мягким, вкрадчивым голосом. Архиерей всегда употреблял его для тонких дипломатических поручений, которые молодой пронырливый попик обделывал с ловкостью старого иезуита.

– А, вот и ты пожаловал, – сказал Паисий. – Ты сам Лукьян-апостол и есть? – прибавил он с улыбочкой. – Вот мы тебя навестить приехали насчет веры новой, что ты открыл. Посмотрели тут кое-что без тебя. Мудер ты, видно. Книг – как у попа. Нет ли где еще?

– Я Лукьян, точно, а апостолом не мне, грешному, прозываться, – отвечал штундист. – Служу Богу, как повелел он. Книги мои вот тут. Других нет. Осмотрите сами, милости просим, и Бог вам на помощь, коли вы с добром.

Это было сказано так просто и с таким достоинством, что Паисий несколько опешил и

перестал подшучивать.

Обыск был произведен очень тщательно. Осмотрели клеть, и сарай, и двор. На дворе стояла

опрокинутая вверх дном бочка. Подняли и ее, чтоб убедиться, не спрятано ли там чего-нибудь.

Никаких писем или документов в доме найдено не было. Но в ящике стола оказалась

толстая тетрадка, в которой Лукьян набрасывал свои проповеди. Паисий так и вцепился в нее.

– Вот оно, новое-то евангелие! – не мог удержать он ехидного замечания.

Лукьян добродушно улыбнулся.

– И старое-то дай Бог соблюсти! – сказал он.

Книгам была сделана подробная опись, и те, где оказались пометки, были отобраны и

приобщены к "вещественным доказательствам". Затем Лукьяну приказано было одеться и идти в

волость.

Параска всплакнула и попробовала причитать. Но Лукьян так на нее посмотрел, что она

тотчас перестала.

– Прощай, мужу кланяйся. Он знает, где у меня что, – сказал Лукьян на прощанье.

Лукьяна увезли в маковеевскую сельскую избу, которая была ближе. Здесь был составлен

протокол обыска, и затем Паисий приказал старосте скликать кое-кого из мужиков для опроса.

Старшина и писарь Пахомыч живо обделали дело. Через полчаса сельская изба была набита

народом.

Когда все собрались, Паисий окинул толпу кротким взглядом и повел к ней такую речь:

– Вот, православные, – сказал он, – завелись у нас смутьяны. Русский народ в немецкую

веру перевести хотят. Да этому не бывать. Так ведь, православные?

– Вестимо, не бывать, – отвечала в один голос толпа.

– Так, значит, их искоренять в зародыше нужно, пока, значит, их мало еще, чтобы соблазна

и греха от них не было. Всем нам заодно против них нужно быть, – проговорил мягким, ласкающим голосом молодой попик. – Так ли я говорю, православные? – закончил он, обводя всех светлым, кротким взглядом.

Православные замялись. Только Кузька, по прозванию Вертихвист, жиденький, уже немолодой мужичонка, одержимый потребностью чесать язык и упиваться звуками собственного орания, выскочил:

– Известно, в зародыше, то есть, значит, в зерне, потому, значит, коли ежели зерно, да ко времю, так и выходит, значит…

Он запутался и замолчал, не чувствуя за собой необходимой для него поддержки толпы.

Штундистов сторонились и не любили, как новаторов, нарушавших ленивый сон деревенской мысли. Но предпринимать что-нибудь против них, особливо путаться при этом с начальством, никому не было охоты. А ласковый попик, очевидно, гнул к этому.

– Так скажите же, кто что слышал, какую хулу на православие от этого самого штундарского лжепророка и лжеапостола?

Он бросил на Лукьяна далеко не кроткий взгляд, а потом обвел глазами толпу.

Но никто не отвечал. Даже Кузька прикусил язык. Дело, очевидно, пахло судом, а этого все боялись как огня.

– Что же вы молчите? – ласково обратился к ним отец Паисий. – Говорите смело. Вам ничего за это не будет.

Он хотел успокоить мужиков, но вместо того окончательно их перепугал. Православные упорно безмолвствовали.

– Ну, кого Лукьян в свою веру совращал? – спросил Паисий.

Православные молчали. Паисий упростил вопрос.

– Кому про свою веру Лукьян говорил? – -сказал он. – Тебе говорил? – попробовал он

обратиться к Кузьке, как наиболее словоохотливому.

– Как нам знать, твое преподобие, мы люди темные, – отвечал Кузька, почесывая за ухом.

Паисий зло засмеялся.

– Вижу, что темные, коли не разберете, про веру ли с вами говорят, или про каурую кобылу.

– Так как же, – иронически обратился он к старшине, – про веру никому не сказывал? Все про

себя держал, даром что апостол? Может, и книжечек никому не давал?

Он обвел насмешливым взглядом толпу, остановив случайно глаза на Лукьяне, стоявшем на

виду перед толпою. От него Паисий меньше всего ждал ответа, но вдруг Лукьян поднял голову и

сказал:

– И Писание я давал и о вере говорил со всеми чающими и алчущими, потому что сказано в

Писании: "Чему я научил вас втайне, то вы поведайте всем людям явно, на торжищах и с крыш

домов".

– Говорил? Кому же? – набросился на него Паисий.

Лукьян хотя и был простодушен, как младенец, в простых житейских делах, но прекрасно

соображал в важных случаях. Он ничего не ответил на вопрос Паисия, точно не расслышал его.

– Чего же ты молчишь? – ехидно заметил Паисий. – Если ты точно апостольствовал, то

должен, чай, помнить, кому..

– Не искушай Господа Бога твоего, – отвечал Лукьян. – Каждому Бог посылает час, в оный

же исповедать его. Не подобает человеку ускорять путей Божиих.

Он обвел взглядом толпу и поднял глаза кверху, шепча про себя молитву о послании

исповедного часа тем, кого не хотел назвать громко.

– Колдуешь, чернокнижник! – зашипел на него Паисий. – Вот ужо, дай срок, отобьем мы у

тебя охоту! Связать его, – крикнул он старосте, – и не пускать никого к нему. Смотри, ты за

него будешь в ответе. И вас мы подберем, покрыватели, бесстыдники,

– обратился он к толпе. – Отец Василий распустил вас. Так мы вас подтянем. Дайте срок!

Его тонкие губы побледнели от злости. Он видел, что ему ничего не добиться, и всю его елейность как рукой сняло.

– Да мы что! Мы завсегда рады, – выскочил было Кузька.

– Ты чего юлишь? – накинулся на него Паисий. – Чего язык чешешь? Пошел вон! Пошли вон все, – крикнул он на толпу.

Мужики вышли. Паисий велел подавать лошадей и, сдав арестанта чиновнику, вышел на крыльцо. Телега уже ждала его. Он сел и приказал везти себя к отцу Василию. Сняв шапки, толпа смотрела за ним вслед.

– За оброком к попу поехал, – сказал со смехом один из мужиков. – Будет теперь поп Василий прижимать – беда!

Толпа осталась у избы, чтобы посмотреть, что будет дальше. Тут же стояла кучка штундистов, в том числе Ульяна с Павлом. Старшина не велел их пускать в правление, сообразив, что из этого ничего хорошего не выйдет. Их не оповещали о сходе. Но они сами пришли, узнав об аресте Лукьяна, и стояли все время за воротами.

Когда Паисий уехал, они хотели проникнуть в избу, но их вытолкали вон.

– Подождем, как выводить станут, – сказала Ульяна своим.

Наконец Лукьяна вывели. Он был без шапки, со связанными руками; рядом с ним стоял чиновник в форменной шапке. В это самое время отворились ворота, и оттуда выехала казенная телега, в которой сидело двое жандармов с пистолетами на поясе и саблями.

Лукьян горько усмехнулся.

"Точно на разбойника пришли", – хотел он сказать, но не сказал, вспомнив, откуда эти слова. Однако та же мысль мелькнула в уме всех зрителей, как штундистов, так и православных.

"Точно на разбойника пришли!" – думали все, одни с сокрушением,

другие с удивлением.

Штундисты бросились вперед к повозке и окружили своего учителя.

– Прощай, брат! на кого ты нас оставляешь? – шептали они, протягивая руки.

– Пошли прочь! – крикнул чиновник.

Лукьян сделал знак рукой, чтобы они отошли. Ему не хотелось подводить своих.

– Будьте мудры, как змеи, и незлобивы, как голуби,- проговорил он как будто про себя.

Он боялся какого-нибудь "оказательства", которое могло бы погубить в зародыше молодую

общину, им основанную.

– Прощайте, братья, – сказал он, обращаясь, по-видимому, к православным. – Простите,

коли в чем перед кем согрешил.

– Бог простит! – загудела толпа, которая была теперь вся на стороне арестанта. Некоторые

сняли шапки и набожно крестились.

– Христос будет с вами и наставит вас, – продолжал Лукьян.

– Молчать! – крикнул чиновник. – Проповедь мы тебя вывели читать, что ли? Пошел, –

скомандовал он ямщику, который медленно разбирал вожжи.

Лошади тронулись. Но по извилистой и ухабистой улице, где ежеминутно попадались на

дороге люди, нельзя было ехать скоро. Толпа провожала повозку до самой поскотины. Многие

шли с непокрытыми головами, – неизвестно, из уважения ли к чиновнику, или к арестанту.

Лукьян был глубоко тронут таким неожиданным сочувствием обыкновенно холодной и

даже враждебной толпы. У заставы он обернулся как бы для благословения и хотел что-то

сказать. Но по знаку чиновника один из жандармов схватил его за ворот и сильным толчком

опрокинул его на дно телеги. '

– Гони! – обратился он к ямщику.

Ямщик хлестнул кнутом, и телега покатила крупной рысью.

Толпа долго стояла, глядя вслед удалявшейся повозке.

Глава X

Когда грозное начальство скрылось за облаками пыли, в толпе начались разговоры по поводу только что происшедшего.

Непостоянный философ Кузька был того мнения, что раз Лукьяна забрали, стало быть за дело. Староста Савелий, как человек официальный, хотя и одобрял такое доверие к непогрешимости законной власти, но, как человек основательный, желал более подробных разъяснений. Обратились к Павлу за решением сомнений. Но Павел был подавлен разлукой с дорогим учителем и не мог говорить.

– Читайте евангелие, – сказал он. – Оно умудрит вас и откроет вам истинную веру Христову. Это наша вера и есть.

Ульяна, умевшая лучше владеть собой, собиралась говорить вместо сына, но в эту минуту к ним подошел молодой барин Валериан.

Он узнал о происходившем в деревне через дворовых и шел в сельское правление, чтобы, если можно, не дать обидеть невинных людей. Но не заставши уже там Лукьяна, пошел следом за толпою, провожавшею повозку с арестантом. Он услыхал последние разговоры, и ему захотелось сказать свое слово.

– Никакой вины за Лукьяном и за всеми этими людьми нет, – проговорил он. – Люди хотят простой веры, без попов, которые дерут с живого и с мертвого. Вот попам и обидно. Так я говорю? – обратился он к штундистам.

– Так-то так, – ответил нерешительный голос Ульяны, – да не в одном обирательстве дело…

– А что, ты разве тоже их веры будешь? – спросил с любопытством староста.

Валериан засмеялся.

– Нет, мая вера другая, – сказал он. – Да я не о своей вере говорить пришел. Скажите, –

обратился он к штундистам, – как Лукьянова семья осталась? Не нужно ли помочь? Коли что

понадобится, дайте знать. Мы с отцом всегда рады.

– Спасибо тебе, барин, на добром слове, – сказала Ульяна. – Мы знаем, что вы до нас

добрые. Только уж ты будь спокоен; мы сами справимся. Кого, кого, а уж Лукьянову семью мы

не оставим в нужде.

– Это ты хорошо говоришь, – сказал Валериан. – Нужно друг за дружку стоять; не только по

вере, но и всем. А все же, коли понадобится, милости просим.

Он кивнул головой Ульяне и ушел, оставив толпу еще в большем недоумении, чем прежде.

У отца Василия тем временем накрывали на стол и собирались угощать нежданного и не

особенно желанного гостя.

Перед обедом Паисий заперся с хозяином и имел с ним объяснение, от которого отца

Василия бросало и в жар и в холод. Паисий выговаривал ему от имени архиерейского правления

за невзнос обычной дани и от своего – за то, что он так распустил свою паству.

– Ведь за всех малых сих, тобою пасомых, ты ответишь перед Богом, – донимал его

молодой попик. – Горе человеку, через которого проходит в мир соблазн. Помнишь, что о таком

человеке в Писании сказано? Лучше ему камень на шею да в воду, ибо Содому и Гоморре легче

будет на том свете, чем такому человеку. Понимаешь, отец, чем это пахнет, а?

Отец Василий только закатывал глаза и сокрушенно вздыхал.

– А разве это не соблазн, что у тебя еретикам такая' воля, что православные их покрывают?

Разве так надлежит пастырю, который печется о своем стаде? Что ты Богу ответишь, когда он

тебя спросит, что ты сделал с тем, кто тебе доверен был?

Отец Василий даже застонал: на этом свете за все отвечай перед

архиереем, "а том – перед

Богом! Просто хоть камень на шею, да и в воду – и то впору.

– Ох, отец Паисий, не знаешь ты здешнего народа!- проговорил он. – Разве с ними

сообразишь? Ты им о том, чтобы порадели о вере, а они свое: наше, мол, дело сторона. Подати,

мол, платим исправно и все повинности исполняем, а там пускай себе идут в геенну огненную,

коли им любо. Это уж их дело. Мы за них, мол, не ответчики. Ну что с таким народом будешь

делать? – закончил отец Василий, разводя руками. '

Паисий бросил на него взгляд, полный презрительного сожаления.

– Как – что будешь делать? – сказал он. – А ты наставь, объясни. На то ты отец духовный.

Как они не ответчики? Все Богу ответят за то, что терпят и дают плодиться его врагам.

Неурожай ли, град, засуха случится, – а ты и растолкуй, что это Бог карает их за то, что

еретиков у себя терпят. Скотский падеж, – а ты объясни, что это за то, что еретическая скотина

с православной пасется. Как-таки, чтоб Бог не покарал за нерадение? Они о Боге не брегут, и

Бог о них занебрежит. Так-то! Ты вот и вразумляй. Да не раз, не два, а денно и нощно: и с

амвона, и на исповеди, и в беседах на дому. Мужики не послушают – за баб примись. На то ты

поп.

– Вишь ты, а мне и невдомек! – простодушно воскликнул отец Василий, начиная

соображать.

– И им лучше будет и тебе, – продолжал Паисий и принялся развивать другую сторону дела,

которая, он знал, была гораздо доступнее его собеседнику.

Отец Василий слушал развеся уши, и Паисий, видя свой успех, смягчился и даже обещал

похлопотать в консистории, чтобы там повременить с "данью".

К столу оба вышли в благодушном настроении. Вкусная уха и свежие штундистские караси,

которые очень пригодились матушке, окончательно ублаготворили ревнителя православия. Обед

вышел самый приятный. Матушка все жаловалась на трудные времена и на умаление доходов.

– Охладел народ к вере, – говорила она. – Бывало, прежде каждый мужик три молитвы на

дому заказывал, а теперь и от одной отлынивают. – Она жаловалась и на плохие требы.

– Совсем не мрет народ. Дети, точно, мрут, как мухи, да какой от ребенка доход? Лукошко

яиц посулит баба, й на том спасибо, хотя хлопот с ребенком ведь столько же, сколько и с

большим. А настоящий народ как-то совеем Божиим попущением не мрет. За лето только двух

отпевали, да полиция мертвое тело какого-то бродяги пропойцы нашла на дороге. Пришлось

отпевать даром. Совсем земляной доход пустяшный стал. А вот, – прибавила она со вздохом, –

отцу Иннокентию преображенскому Бог какое счастье послал. В одно лето у него сто человек

померло от дифтерита. Так во какие хоромы построил себе в городе. Видали небось на

Бульварной, рядом с полицейским участком?

– Видал, – сказал отец Паисий.- Дом преизрядный. Под казармы сдавать будет.

– Он самый, – сказала матушка. – Все от земляного дохода пошло. Вот как, кого Бог

взыщет, а кого умалит. На все его воля.

Потом разговор перешел на другие предметы. Матушка была умнее батюшки и знала

слабость гостя. За наливкой она стала расспрашивать его про консисторские дела и

осведомилась, скоро ли его назначат соборным протоиереем?

– Отца Иринея, говорят, в Воронеж посылают. Уж после него никому, как вам, – добавила

она.

Паисий осклабился.

– Молод я еще в соборные, – скромно сказал он.

– Ведь не по летам, а по уму выбирают, – сдержанно проговорила

матушка. – Теперь
времена трудные, – не то, что прежде было. Иные архиереями делаются с небольшим в сорок
лет. – Она назвала несколько примеров.

Паисий оживился и принялся рассказывать про консисторские интриги и про свои шансы.
В душе он был вполне согласен с матушкой относительно правила, которым церковь должна
руководиться в настоящее трудное время при выборе своих сановников. Он уже имел немало
случаев доказать, что он способен сделать для пользы и силы православия. Но такого случая, как
проявления в их губернии штунды, ему еще не подвертывалось, и он решился поставить его
ребром.
Он уехал уже в сумерки, когда отец Василий от частых возлияний уже, что называется, не
вязал лыка. Но матушка была свежа и бодра, как и за обедом, и он повторил ей свои мудрые
наставления в еще более упрощенной и понятной форме.

Глава XI

К счастью Гали, вернувшись домой, она не застала отца: вскоре после ухода старика

Охрима он уехал по делам в соседнее село и должен был вернуться только поздно ночью. Это

избавило ее от тяжелого объяснения и дало ей время приготовиться. Мать встретила ее одна и

тотчас рассказала ей, что Охрим сделал формальное предложение.

– О приданом битых три часа толковали. Два самовара выпили… – прибавила она шепотом.

– Я из-за двери кое-что слышала. Обрядят тебя, как княжну. Будешь ты богатая да важная, и все

тебе будут завидовать.

Старуха совсем забыла недавнюю беседу с дочерью, и ей теперь казалось, что такому

богатому жениху всякая девушка должна радоваться.

– Мама, что вы говорите! – вскричала Галя, ломая руки. – Что мне в том, что мне станут

завидовать, когда мне счастья не будет.

– Что ты, дочка, Господь с тобой. Еще беды накликаешь. Стерпится-слюбится. Да ведь

Панас парень хоть куда, – молодой, и ус у него черный.

– Мама, не с усами жить – с человеком.

– Что ж, и человек он ничего себе и тебя любит. – Да я-то не люблю его. Не пойду я за него!

– вскричала Галя, махая руками.

– Что ты, как не пойдешь, когда отец велит? – с испугом сказала Авдотья. – Наше дело уж

такое бабье – что велят, то и делай. И я девкой была, знаю. Уж как я за твоего отца идти не

хотела, как просилась! И старше он меня был и другую девку любил, бедную. А наши семьи

были богатые. Ну и повязали рушниками. Горько было, а пошла. Не ты первая, не ты последняя,

дочка моя бедная.

Старуха размякла снова, разжалобившись над своим собственным

девичеством, и стала
жалеть и голубить дочку.

Галя молчала, не отвечая на ее ласки. Она знала, что от матери ей не будет поддержки.

"Скажу отцу, – думала она. – Упаду ему в ноги. Буду просить, чтоб не выдавал за немилого.

Может быть, он меня пожалеет". Она проплакала добрую половину ночи и встала бледная, с
красными глазами.

Войдя со двора к завтраку, Карпий взглянул на нее внимательно и строго. За столом не
проговорил ни слова, много ел и посматривал исподлобья то на Галю, то на жену. Он
чувствовал, что с дочкой что-то неладно, и ему досадно было, что приходится ломать ее. Он
никого не любил, кроме дочки.

Галя убрала со стола и, сложив скатерть, уложила ее на полку. Откладывать объяснение
дольше было непорядок.

– Ну, дочка, знаешь небось, что Бог тебе хорошего жениха послал. Охрим сам приходил
просить. Приданое я тебе дам хорошее. Охрим за сыном тоже дает немало. Семья хорошая,
богатая. На неделе сватов зашлет. Так ты уж того, не подай ему печеной тыквы.

Галя побледнела.

– Тато, чем я тебе не угодила, что ты меня из дому вон хочешь? – сказала она почтительно.

– Дура, не век же тебе в девках сидеть. Уж твои подруги все почитай замуж повыходили. И
тебе пора.

– Тато, не хочу я замуж, – сказала она тверже, подходя к отцу. – Твоя надо мной воля. А
коли любишь меня, не гони меня в чужую семью.

– Эх, зарядила девка: не хочу, да не хочу, – с сердцем сказал Карпий. – Врешь ты все.

Всякая девка норовит замуж выскочить. Панас – первый жених в округе. Другая бы овечку перед

иконой поставила, а она кобенится.

– Тато, не люб мне Панас. Не будет мне с ним счастья, Не губи меня, тато. Я ведь у тебя

одна.

Она закрыла лицо руками и опустилась перед ним на землю, положив русую голову ему на

колени,

– Экая оказия! – проговорил Карпий.

Ему жалко было дочки и досадно было на себя, что он готов забыть все и уступить тому,,

что он считал ее дурью.

– Ну чего ты, дурочка, – сказал он ласково. – Я ведь не ворог тебе и твоего же добра хочу.

Ну, чего ты? Штундарь, что ли, тебя с толку сбивает?

Галя ничего не сказала, только крепко прижалась к нему.

– Ну встань, сядь тут, поговорим толком.

Галя поднялась и села на лавку, прижавшись к углу.

– Ну что, – продолжал Карпий, – штундарь хочет сватов заслать, что ли?

– Хочет, – чуть слышно проговорила Галя краснея.

– Так ведь что он против Панаса? Его Панас купит и продаст и опять купит. Одной земли у

старого Охрима на трех твоих штундарей. Эх, дура девка! Послушай старика, я тебя неволить не

хочу. Не все миловаться будете. Жить надо. Вот тут и узнаешь, что такое богатство.

Он остановился, ожидая ответа;. Но Галя молчала.

– Вам, молодым, где это понять? Глупы вы еще,- снисходительно продолжал Карпий. – Да

что? сказал он тебе, что одумается и свое глупое штундарство бросит? – допрашивал он, еще

больше смягчаясь.

– Нет, не бросит! – проговорила Галя.

– Не бросит? – переспросил Карпий, строго хмуря брови. – Так ты что ж, за некрещеного

идти согласна?

– Нет, не пойду я за него, некрещеного, – вскричала Галя. – Не хочу я ни за кого идти. Ни за

него, ни за Панаса. Дай мне дома остаться, таточка миленький.

Я так тебе угождать буду и работать на тебя буду, чтобы ты всегда мной доволен был, –

умоляла Галя. Авдотья, стоявшая все время безмолвно, вмешалась.

– Чего ее в самом деле торопить, – вступилась она за дочку. – Уважь ты ее. Пусть поживет

еще в девках. Только ведь и житья нашей сестре. В хомут-то всегда успеет да в неволю.

– Молчи, дура, – оборвал Карпий ее причитания. – Я думал, что взаправду что, а тут девка

сдурела, сама не знает, чего хочет, а ты, старая, нет чтоб ее разуму научить, сама туда же за ней.

Лучшего жениха во всей округе не найдешь. Шабаш! Быть ей за Панасом – и чтоб разговоров не

было у меня. Готовьте ржаники! Слышите?

Он стукнул кулаком по столу и сердитый вышел из избы. Бабы остались одни. Галя рыдала

в углу. Авдотья осторожно подошла к ней.

– Ну, Галечка, перестань, не плачь. Отец придет и хуже рассердится, – старалась она ее

успокоить. – Перестань, чего› ты? Отец тебе добра хочет. Чем Панас не жених? Не ты первая, не

ты последняя… – затянула она свою обычную песню.

Галя ее не слушала. В ее молодой головке мысли шли своим чередом. За Павлом ей не

бывать, а замуж ей придется же выйти. Так не все ли равно, за кого. Лучше разом все покончить.

Она подняла голову и утерла слезы.

– Ну, вот так, ну, умница, что матери послушалась, – говорила Авдотья. – Вот умойся, чтоб

слез не видно было, я тебе воды принесу.

Она вышла из комнаты и вернулась через минуту с миской и кувшином.

Галя умылась и вытерла лицо полотенцем, глотая слезы, и больше о Павле не

разговаривали. Карпий через два дня пошел к Охриму. Он просидел у него три часа и выпил два

самовара, торгуясь о приданом. Потом Охрим опять к нему ходил, и опять они сидели вместе, и

пили чай, и торговались. Так прошла неделя, пока наконец они не договорились насчет
приданого и не ударили по рукам.
В тот же день Карпий объявил об этом дочке.
Галя выслушала бесповоротное решение без всякого волнения. Даже бровью не моргнула,
точно в ней все застыло и окаменело.
"Ну, слава Богу, девка, кажись, одумалась", – подумал про себя Карпий.
Когда они остались вдвоем с Авдотьей, он, против обыкновения, опросил ее, как она
думает, что с дочкой.
Авдотья удивилась такому вниманию.
– Ничего, кажись, все ладно, – отвечала она.
И точно, казалось, Галя успокоилась, помирившись со своей участью. Все эти дни она не
проронила ни слезинки, ходила по дому, работала и помогала матери. Только молчалива стала,
как схимница. Раз, идя по воду, она повстречала Павла и поздоровалась с "им, как с
обыкновенным знакомым, -и даже не досмотрела ни разу ему вослед. С ним все счеты были у
нее кончены. Она даже не думала о нем.
После того как старики порешили насчет приданого, оставалось ждать формального
сватовства. По обычаю, сваты должны были явиться в первое воскресенье после домашнего
соглашения.
В субботу утром Карпий уехал' в село купить всего нужного для угощения, чтобы,не
ударить в грязь лицом перед, будущим зятем. Еще до свету начались приготовления. Авдотья
нажарила колбасы, рыбы, приготовила студеню, нарезала лапши, напекла пирогов и вареников
чуть не на целый полк. Карпий вынес из каморки разных наливок, меду и водки.
Во всем доме все шло вверх дном. Однако вся семья пошла к обедне; хотя им было не до
того, но так требовал обычай. Неприлично было обнаруживать

слишком большие хлопоты перед
приходом сватов.
Вернувшись, Авдотья с Галей торопливо стали накрывать на стол, чтобы сваты не застали
их врасплох, и едва они успели кончить, как Авдотья, выглянувши в окошко, сказала:
– Едут!
Она завидела на улице старика Данила, брата Охрима, в праздничном кафтане, и рядом с
ним Андрия огородника, который шел младшим сватом и нес в полотенце каравай хлеба.
– Ну, дочка, ты теперь иди к себе, – сказал Карпий. – Позову, когда нужно будет.
По обычаю, девушке не полагалось быть в комнате, когда войдут сваты. Ее присутствие
помешало бы разыграть по всем правилам веками освященную церемонию сватовства.
Карпий важно уселся за стол и стал ждать. Авдотья села с ним рядом, в безмолвной роли,
которую ей предстояло играть.
За дверью раздался троекратный стук, и в комнату вошли сваты и, перекрестившись на
образа, низко поклонились хозяевам. Затем старший сват Данило взял у Андрия каравай и
положил его на стол.
– Дай вам Бог добрый день, почтенные хозяева, – сказал он.
– Добрый день и вам, добрые люди, – отвечал Карпий. – Просим садиться, будьте гостями.
А откуда это вас Бог несет? Из далека или из близка? И кто вы такие – охотники, рыбаки или
вольные казаки?
Данило тихо откашлялся и начал:
– Мы охотники и вольные казаки. А люди мы из далекой стороны, из турецкой земли. Раз у
нас дождь выпал и роса. Я и говорю товарищу: "Чего нам смотреть на погоду? Пойдем искать

звериного следу"… Ну вот, пошли. Ходили, ходили, ничего не нашли. Вдруг глядь – навстречу

нам князь. Поднимает вверх плечи и говорит нам такие речи: "Эй вы, охотники молодцы, будьте

ласковы, покажите дружбу! Повстречалась мне куница – красная девица; не ем, не пью, не сплю

с того часу и все думаю, как бы ее достать. Помогите мне ее поймать. Тогда чего ваша душа

захочет, того и просите, все дам: хоть десять городов, хоть тридевять кладов". Ну, нам оно и на

руку. Пошли мы по следам, по всем городам, и в Неметчину, и в Туретчину. Все царства и

государства прошли, а все куницы – красной девицы – не нашли. Вот мы и говорим нашему

князю: "Что это за невиданная куница? Неужто нет лучшей? Пойдем искать другой!" Так где

тебе! и слушать не хочет. "Где, говорит, я ни ходил, где ни ездил, в каких царствах и

государствах не бывал, а такой куницы, то бишь красной девицы, не видал!" Ну вот, пошли мы

опять по следу и как раз в эту деревню пришли, как ее дразнят-прозывают, не знаем. Тут опять

выпали дождь и роса. Мы, ловцы-молодцы, ну следить, ну ходить! Сегодня ранешенько встали и

на след таки напали. Верно, говорим, что зверь наш убежал в вашу хату, в эту самую комнату.

Тут нам его и поймать. Тут застряла наша куница, в вашем доме красная девица. Тут нашему

слову конец, а вы дайте делу венец. Отдайте нашему князю куницу, вашу красную девицу.

Скажите ж толком, – пусть. за нашего князя идет или пусть еще подрастет? Карпий притворно

сердитым тоном отвечал:

– Вот так напасть! С чего это вы на нас такую беду накликали? Галя, слышишь? Галя, иди

ж сюда, пожалуйста, и посоветуй, что мне делать с этими ловцами-молодцами.

При этих словах Галя вошла в комнату и остановилась посредине, потупив глаза, а Карпий,

обращаясь к. сватам, сказал:

– Видите, ловцы-молодцы, что вы наделали? Меня, старика, со

старухой да с дочкой осрамили, будто мы в доме куницу под видом красной девицы укрываем. Так вот же что мы с вами за это сделаем. Хлеб святой мы принимаем и за доброе слово благодарим, а чтоб вы нас вперед не пугали, мы вас за это свяжем. Ну, будет тебе, дочка, стоять насупившись. Нет ли у тебя, дочка, чем этих ловцов-молодцов повязать? Слышишь, Галя? А может, у тебя нет полотенца? Может, ничего не приготовила? Не умела ни прясть, ни вышивать, добра наживать?

Ну так вяжи хоть тесемочкой, коли есть.

Галя ушла за дверь и сейчас ж вернулась, неся на подносе два вышитых полотенца, которые она положила на хлеб, принесенный сватами. Потом она подошла к отцу и, низко поклонившись, поцеловала ему руку и затем, сняв с хлеба свои полотенца, поднесла их сватам, сперва старшему, потом младшему.

Сваты, взявши полотенца, поклонились сперва отцу с матерью, потом Гале, и старший сват Данило сказал:

– Спасибо вам, отец и мать, что дочку свою рано будили и всякому добру учили. Спасибо и тебе, девушка, что рано вставала, тонкую пряжу пряла, приданое составляла.

Тогда Галя, взяв снова полотенца, повязала их через плечо – сначала старшему, потом младшему свату. Карпий посмотрел на дверь.

– Знаю, знаю, – сказал Данило. – Вы и князя нашего связать хотите. Он и сам прилетит нас выручать и повязки рвать, как узнает, какая беда с нами приключилась.

– Ну, пока еще прилетит, а нам ждать нечего, – сказал Карпий. – Просим садиться. Что есть, то поедим, что дадут, то попьем, да и потолкуем кое о чем. А ты, Галя, тем временем не гуляй, в ковши меду наливай и гостям хлеб-соль поднеси по чину и обычаю.

Сваты чинно сели за стол. Галя приняла от отца кувшин с чаркой и,

налив меду, поднесла
старшему свату.
Но Данило чарки не принял.
– Мы у вас такого переполоху наделали, что боимся, как бы вы нас не отравили. Отведайте

сами.
Галя поднесла чарку к губам и, хлебнув маленький глоток, снова подала чарку свату.
– Ну, теперь ладно, – сказал Данило. – Пошли же Бог нашим молодым счастья, богатства и
доброго здоровья, и чтобы они внуков переженили и правнуков дождались.
Он осушил чарку, а за ним и Андрий.
Началось пирование.
В конце обеда пришел Панас с двумя дружками. Ни сватам, ни Карпию было не до
церемоний, потому что все трое, и даже старуха, были, сильно навеселе. Однако Галя сняла с
одного из сватов полотенце и повязала им вокруг пояса своего жениха. Собравшись с духом, она
наклонилась, чтобы поцеловать руку своего будущего владыки, как это предписывалось
обычаем. Но Панас удержал ее и звонко поцеловал ее в губы.
Галя отвернула голову в сторону и поморщилась.
– Не стыдись, голубка, – шепнул ей Панас, – много будем мы целоваться с тобой.
Он подсел к столу с дружками. Карпий нетвердой рукой налил ему вина.
В сумерки пришел Охрим и перезвал всех к себе доканчивать пирушку.
Галя уложила мать спать и осталась совершенно одна. Она сбросила с себя праздничный
наряд, расплела косы, побросала ленты и разорвала нитку дорогих кораллов.
– Господи, что-то будет, что-то будет со мной! – шептала она в ужасе, хватаясь за голову.
У Охрима между тем шло разливанное море. Старик назвал кучу гостей вспрыснуть

помолвку своего сына. Панас усердно подливал гостям и сам не отставал от них. Он

торжествовал вдвойне: добившись согласия любимой девушки и унизив соперника. Попойка

продолжалась до глубокой ночи. В одном конце стола несколько человек старались пьяными

голосами сладить песню, причем половина пела одну, а половина – другую. На другом конце

Карпий, совсем посоловелый, обнимал младшего свата, рыжего Андрия, принимая его за Галю,

и толковал, еле ворочая языком, что он отец и ей, ненаглядной дочке, худого не пожелает и что

штундарю до Панаса – как свинье до коня.

Слова эти коснулись слуха самого Панаса, который с дружком стоял неподалеку, и дали

неожиданный толчок его пьяному воображению.

– Штундарь? Кто про штундаря поминать смеет? – забушевал он. – Подать сюда штундаря.

Я Гальку я него отбил, самого в порошок изотру. Кто против меня стоять смеет? – горланил он.

– Эй, ребята, что нам смотреть, – крикнул дружко на всю комнату. – Кто Панасу друг, идем

штундаря разносить!

В деревне мало секретов. Все знали, кто был соперником Панаса, и дикий призыв нашел

отголосок.

– Идем, идем, – крикнуло с десяток парней, которые еще держались на ногах, и, оставивши

стариков доканчивать попойку, буйная ватага, повалила на улицу.

До поселка было от Панасовой избы с версту места. Чтоб не скучно было идти и чтобы не

дать своему отряду остыть, дружко затянул песню. Панас подхватил, за ним другие, и так, с

песнями и криком, ватага дошла до Павловой избы. Ворота были заперты. В минуту десять пар

дюжих рук их выломали, и ватага ворвалась во двор. Дюжие кулаки застучали в окна и двери.

Через минуту окошко отворилось, и в нем показалась седая голова Ульяны.

– Что такое? Чего нужно? – спросила она, удивленно оглядывая толпу.

– Павла нужно, Подавай нам Павла, – кричали ей снизу.

– Что ж это вы ночью, как разбойники, вломились? – сердито проговорила Ульяна. – Дня вам мало разве,, что людей по ночам пугаете? Нет его дома. Ступайте проспитесь, озорники.

Она захлопнула окошко и скрылась.

Пьяная толпа забушевала пуще прежнего.

– Врет, бусурманша, – кричал дружко. – Испугался штундарь и спрятался куда-нибудь в клеть и вперед старуху выслал. Бери, ребята, бревно от ворот и давай дверь ломать.

Несколько человек схватило бревно и, раскачавши его, собирались стукнуть в дверь с размаху, как вдруг дверь тихо отворилась и на пороге показалась высокая фигура Ульяны в юбке и рубашке, с всклоченной седой головой и строгим гневным лицом, на котором не видно было и признака страха.

Толпа невольно отступила. Бревно упало из рук на землю.

Ульяна сделала шаг вперед. Вся ее фигура и лицо осветились полной луной.

– Что ж это вы, откуда вы взялись? Панас, Андрий, Петро, – называла она их по имени, обводя толпу глазами. – Вы из честных семей, а что это вы делать собрались? Пьяны вы, а и во хмелю добрые люди того не задумают…

– Пошла, пошла! Нам тебя не нужно. Мы за Павлом пришли, он нам товарищ.

Панас бодрился и сделал движение по направлению к двери.

– Не пущу! Назад! – крикнула Ульяна, загораживая ему дорогу. – Прежде убейте меня на месте. Не товарищ Павел таким, как вы.

– Ничего мы ему не сделаем. Пусть только выпьет с нами за здоровье молодых, – сказал дружко насмешливо.

– Стыдился бы ты, озорник! – сказала Ульяна, сверкнув на него глазами. – Нету дома Павла,

говорят вам.

– Э, да врет она все, старая штундарка! – крикнул кто-то в задних рядах. – Куда ее Павлу

деваться? Загулял, что ли? Пихай в дом, ребята.

Ульяна защелкнула за собой дверь и стала впереди в выжидательной позе.

Но никто не пошевельнулся.

– Не загулял он. Не таковский он, чтобы загулять. В город поехал, по делу.

– Врешь, старая, чего он в городе не видал? В клети небось сидит и зубами стучит от

страху! – потешался дружко.

– Бесстыжий ты человек! – сказала ему Ульяна. – Лукьяна-пасечника, что намедни

заковали и в тюрьму увезли за то, что Богу служил он по правде и совести и никого в жизни не

обидел, а было от него всякому доброе слово и совет, – вот его и поехал проведать Павел и

помочь с добрыми людьми, потому ему беда какая-то приключилась. Вот почто Павел в город

уехал. Может, ему там самому несдобровать от начальства, а все бросил и поехал брата по

Христу вызволять. А пока он там на добром деле тружается, своих бросивши, вы что делать

собрались? А?

Ульяна недаром была штундистской проповедницей. Она умела говорить складно и

внушительно.

Хмель у толпы как рукой сняло. Все стояли понурив головы.

– А еще христиане называетесь, – продолжала старуха, смягченная их видимым конфузом.

– В праздник божий вместо молитвы и доброго дела перепились и вот что надумали! Коли

людей не стыдитесь, так Бога бы побоялись, вот что!

Она повернулась к ним спиной и скрылась в доме. Толпа несколько минут стояла

неподвижно. Всем было стыдно смотреть друг другу в лицо.

– А все это ты, юла поганая, надумал, – сказал Панас, обращаясь к дружку, и, чтоб на чем-

нибудь сорвать досаду, отвесил ему затрещину.

– Я, я? А кто повел? – огрызался дружко почесывая за ухом.

Все пошли назад. На этот раз вразброд, и дорогой никому не было охоты петь песни.

Глава XII

Вернувшись в город, Паисий на следующее же утро пошел с докладом к архиерею, которому он доложил, что положение дел в Маковеевке найдено было им в самом плачевном состоянии; что ересь, не встречая противодействия ни в местном православном населении, ни в духовенстве, пустила корни глубже, чем можно было ожидать, и грозила быстрым распространением, но что главный распространитель лжеучения им арестован, и он надеется, что благодаря его советам и наставлениям будут приняты меры, которые поведут к скорому искоренению заразы в этой местности.

– А что, тот, другой, иконоборец, что на ярмарке икону изрубил, тоже привезен? – прошамкал преосвященный.

– Степан Васильев? Как же! привезен и сидит уже в остроге. Оба они будут по одному делу.

– Так, так, – соглашался преосвященный. – Этакие исступленные!

Для предварительного следствия по делу о распространении штунды в епархии и для изыскания средств к прекращению ереси архиерей назначил консисторскую комиссию, председателем и душою которой был Паисий. Хотя молодой попик и знал лучше всякого другого, что Лукьян был из числа "безусловно нераскаянных", однако из ехидного расчета он сам предложил на предварительном заседании комиссии сначала в виде опыта подействовать на штундистского проповедника увещанием и кротостью.

Решено было поручить увещание самому Паисию.

Паисий отправился в острог для собеседования с обоими штундистами. Но он не выдержал на первых же порах своей отеческой роли.

Дело в том, что и Степан, иконоторговец, которого привезли в острог

первым, а за ним

Лукьян, своим смирным поведением и набожностью успели настолько расположить к себе

сторожей, что им делались некоторые послабления. В день прихода Паисия их вывели гулять

вместе. Паисий застал их обоих на дворе, разгуливающих между двумя сторожами.

При виде такого снисхождения к заклятым врагам церкви и Бога Паисий распалился

гневом, распушил сторожей, вызвал смотрителя, грозил донести на него губернатору и едва

успокоился, когда тот тут же сменил коридорного и велел немедленно развести арестантов.

После такой сцены было уже не с руки приступать к кротким увещаниям, и Паисий ушел,

не обменявшись ни одним словом с арестованными штундистами,

Так увещание и не состоялось.

На другой день должна была собраться комиссия для предварительного допроса. Заседание

назначено было в десять часов утра, в здании консистории, куда. арестантов привели под

конвоем.

В большой комнате, увешанной портретами прежних архиереев, за столом, покрытым

зеленым сукном, позади которого красовался большой, писанный масляными красками портрет

государя в тяжелой золоченой раме, сидели все шесть членов комиссии. Паисий, как

председатель, помещался посередине. Перед ним лежало евангелие и золотой церковный крест,

который он взял с собой для большей торжественности.

Штундистов привели спозаранку и посадили в ожидании прихода следователей в особой

комнате. Когда вся комиссия собралась, Паисий приказал сторожу ввести их.

Лукьян и Степан вошли и поклонились троекратно, по крестьянскому обычаю, – сперва на

середину, председателю, потом направо и налево – его товарищам, сидевшим на обоих концах

стола. Оба они были в арестантском платье, которое сильно меняло их наружность, и держали в

руках свои круглые арестантские фуражки без козырьков.

– Подсудимые, – сказал Паисий самым кротким тоном, какой он только мог придать своему

голосу, – вы оба заслужили строгой кары за неоднократные оскорбления, которыми в своем

неистовстве осыпали нашу святую веру, за богохульство и за соблазн. Но в своем отеческом

милосердии преосвященный не желает карать вас, а миловать и обещал войти с прошением к

гражданскому начальству об освобождении вас от заслуженной вами кары, если вы

чистосердечным раскаянием искупите вашу вину и покажете хороший пример тем, кого вы же

ввели в соблазн. Степан Васильев! – обратился он к иконщику. – Наущенный дьяволом, ты

всенародно осквернил святыню, изрубивши святую икону. За это тебе полагаются по закону

каторжные работы. Отвечай, признаешь ли ты свою вину и раскаиваешься ли в ней?

– Изрубить икону изрубил, – отвечал Степан. – А вины моей в том не вижу. Сказано в

Писании: не сотвори себе кумира. А идолов, по примеру пророков, надлежит сокрушать

всенародно…

Его перебил Лукьян, который был спокойнее и опытнее своего друга и хотел помешать ему

губить себя собственным наветом.

– Не он сбирал народ, – сказал он. – Люди сами к нему собрались…

– Молчи, – напустился на него Паисий, – придет твой черед отвечать – тогда скажешь.

Невежда, – обратился он снова к Степану,- знаешь ли ты, что, оскорбляя икону, ты

изображенного на ней оскорбляешь. Вот видишь лик государя? – Паисий указал рукой на

висевший над его головою портрет. – Что это? Полотно. А ударь ты это полотно, попробуй.

Знаешь, что тебе за это будет? А за иконой-то кто стоит? Понимаешь ты, мужик неотесанный?

А еще рассуждать берешься, – закончил Паисий торжествующим тоном.

– А коли Бог за вашей иконой стоит, так чего же он ее не оборонил? – сказал Степан. – Ему

бы вы и оставили стоять за нее. Силы у него, у отца нашего, на это хватит.

– Нашими руками Бог покарает тебя, изувер! – сказал Паисий. – Запиши, брат Парфений,

ответы его неистовые,- обратился Паисий к секретарю, молодому монаху, очень

приближенному к архиерею, которому он приходился дальним родственником.

Паисий говорил кротким, сокрушенным тоном, и это не стоило ему никаких усилий над

собою. Дерзкие ответы иконщика не раздражали его, и против него самого у него не было

никакого озлобления. Этот Степан казался ему не более как изувером, каких много среди

раскольников и которые сами по себе не бывают опасны: они идут туда, куда их толкнут другие.

Заводчиком всей смуты был, очевидно, Лукьян. От него пошло все зло. Как заправский

чиновник, Паисий был убежден, что стоит только сократить вожаков, чтобы прекратить всякое

движение.

– Лукьян Петров, – сказал Паисий, – против тебя семнадцать обвинительных пунктов. Ты

привлечен к суду как совратитель православных в свою немецкую ересь. По твоему

подстрекательству вот этот твой товарищ и соучастник совершил святотатственное

надругательство над святой иконой. Отвечай сперва на это.

– Ни Степана, ни кого другого я не совращал. Да и мне ли, неученому, других учить? Сам

Христос совратил их к себе, а коли есть моя вина, так та, что дверь я людям указывал, каковою к

нему, нашему учителю, пройти, еже есть книга, что дана всем нам в

поучение и что лежит перед

твоим преподобием на столе. В золотом она переплете у твоего преподобия, а нам и в простом

переплете она золотая, потому что в ней вся Божия правда рассказана – и как людям жить, и как

веровать, и как Богу поклоняться. Сожгите ее, коли нас казнить хотите.

– Мы не учиться у тебя пришли, а судить твое невежество и предерзостное поведение, –

перебил его Паисий. – Отвечай на вопросы. Тобою научен был этот твой ученик и

соумышленник учинить публичное оказательство вашей гнусной ереси и надругательство над

святой иконою?

– Об изрублении Степаном доски, именуемой иконою, – отвечал Лукьян вполголоса, не

поднимая глаз, – я осведомился лишь тогда, когда это увидел.

– Но ты его одобрял в его преступлении, – допытывался Паисий. – Ты с ним заодно.

– Нет, не я его одобрял, – сказал Лукьян.

– Ты его не одобрял. Это хорошо и похвально, – сказал Паисий. – Запиши, брат Парфений.

– Запиши уж заодно, твоя милость, – прибавил Лукьян, – что не я, а Бог его одобрял, потому

что, когда пророк посек капище Ваалово, Бог его не наказал, а превознес своею милостью.

Паисий позеленел от злости, но сдержался и только проговорил, обращаясь к секретарю:

– Да, запиши это, брат Парфений. Лукьян Петров,- продолжал он, – ты возбуждал народ к

неуважению Богом установленных властей. Ты произносил хульные речи на царя, за гонение

якобы правой веры и его ратоборство за православие.

– Веру свою считаю единой правою, – сказал Лукьян, – как мне Бог то открыл, и да

поможет он моему неведению. А хулы на царя земного не произносили уста мои, и насчет

властей предержащих – поклеп это на нас совсем облыжный. Мы печемся о небесном, а не о

земном царствии. Властям мы повинуемся, не только добрым, но и строптивым, как повелено то от апостола. В делах же веры мы повинуемся Богу единому, и в этом ни цари, ни владыки земные не властны: Бога слушать более надлежит, чем их. А в земных делах они над нами Богом поставлены, и им довлеет страх, и почет, и покорство. Мы и терпим и не прекословим и за гонения, Божиим изволением на нас посылаемые, мы не ропщем, а терпим по примеру древних христианских первоучителей.

– Вишь, куда полез, – язвительно проговорил Паисий. – Выходит, значит, что вы все вроде как бы апостолов и христиан первозванных, а царь православный с его христолюбивым воинством – вроде как император языческий, воздвигающий гонение на вас, истинных проповедников правой веры? Так ведь?

– Бог на том свете разберет, кому за кого идти, – сказал Лукьян уклончиво. – Кого он как рассудит, мы не знаем, потому что не дано человекам предузнавать его промысел. А знаем мы, что на сем свете мы должны блюсти его заповеди, от них же единая есть: воздадите кесарево кесарю, а Божие – Богу.

Как ни старался Паисий раздразнить Лукьяна, он не мог вызвать какого-нибудь резкого, отрицательного отзыва о правительстве, который мог бы пригодиться для обвинения. Лукьян был осторожен и сдержан: он не хотел быть осужденным из-за пункта, которому, в качестве чистокровного сектанта, он не придавал значения. Паисий вынужден был так и бросить его, ничего не добившись, и перейти к пунктам духовного содержания, – и тут, неожиданно для Паисия, Лукьян оказался не только откровенным, но даже резким.

Он обвинялся в стремлении ниспровергнуть церковь, в хуле на святыню таинства, в самовольном совершении треб и во многих подобных преступлениях

против православия и

канонического права.

Лукьян объяснил, что он и его единоверцы церкви не отрицают, веря по обещанию

Христову, что дух божий живет во всех верующих, и каждый может толковать Писание, как Бог

ему внушит. В таинствах видят простые обряды, которые может совершать во имя Христово

каждый верующий по примеру первых времен. Он признал, что сам крестил детей и заключал

браки и за братской трапезой преломлял хлеб и подавал вино.

На вопрос о святых ответил без обиняков:

– Были такие же люди, как и мы, только праведные.

– Как? И апостолы такие же, как ты вот с этим Степаном? – сказал насмешливо Паисий.

Лукьян не смутился.

– Апостолы, – сказал он, – Христа видели и слово его слышали, и потому о вере нам

свидетельствуют, точно на небо сами восходили. А были они такие же люди, как и мы.

Паисий кивнул головой. Этого было достаточно, чтобы "упечь" Лукьяна, куда ему

вздумается.

– Запиши, брат Парфений, – сказал он секретарю.

– Ну, апостол, – весело сказал он, обращаясь снова к Лукьяну, – а как ты насчет епископов

и митрополитов и святейшего синода полагаешь? Все, чай, по-твоему, волки, а не пастыри?

Лукьян ничего не ответил и отвернулся в сторону. Паисий повторил вопрос в более

приличной форме.

– Если ты полагаешь, что простой мирянин может за попа быть, то объясни, как насчет

епископов. Должен быть старший над попами, как на небе над ангелами есть архангелы и над

архангелами архистратиг?

– "Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители?"

Ответ этот был тоже записан.

Допрос продолжался по всем семнадцати пунктам. Паисий пытался спорить. Но Лукьян сыпал текстами, зная на память весь Новый Завет и добрую часть Библии. Когда же Паисий ссылался на постановления соборов, то Лукьян отклонял его доводы заявлением, что соборам не верит: зачем толкования, когда прямое слово Божие перед глазами у всех?

– Вот ты святителям и отцам церкви не веришь, – с досадой сказал Паисий, – а немцам веришь. Ведь все, что ты тут молол, это ты не от своего ума. Все от немцев перенял. Нашел на кого променять матерь свою, церковь православную!

– Кому матерь, а кому и мачеха, – сказал Лукьян.- Отчего же и у немцев не поучиться? Не от себя это немцы выдумали, а из Писания. А кто бы ни указал первый правду, коли уж ее увидел, – потом темноты на себя не напустишь снова.

– Так ты упорствуешь в своем еретичестве? – сказал Паисий. – В последний раз говорю тебе: одумайся и покаянием загладь свой грех. Я буду хлопотать за тебя перед преосвященным. Не то, попомнишь мое слово, худо будет.

– Богу надлежит повиноваться прежде человеков, – сказал Лукьян.

– Оставь ты Бога в покое: не Богу, а отцу твоему, дьяволу, ты служишь и повинуешься. Сторожа, – крикнул Паисий, – уведите его прочь.

Дальше продолжать допрос было бесполезно. Лукьяна увели, а комиссия осталась составлять доклад преосвященному.

Глава XIII

Лукьяна помещали в секретной камере, отдельно от всех остальных арестантов, во избежание возможного соблазна и нередкого в тюремной практике совращения арестантов заключенными сектантами. В том же коридоре через две двери сидел Степан. Они не могли переговариваться, но они проходили мимо дверей друг друга и, если сторож был не строгий, могли переглядываться.

Здание К-ского тюремного замка состояло из обширного двухэтажного квадратного корпуса с несколькими пристройками для служащих и кухней, сообщавшейся с главным корпусом крытым коридором. Все постройки стояли посередине обширного двора, окруженного высокой толстой стеной, доходившей до половины второго этажа. Из нижних камер ничего не было видно, кроме этой стены да клочка неба. Но из окон верхнего этажа было видно поле и предместье, близ которого острог был построен.

Секретные Камеры для одиночных арестантов были расположены для безопасности в верхнем этаже, над помещением острожного караула, во избежание возможности подкопа.

В одну из них посадили Лукьяна в первый день его приезда. Это была маленькая, чрезвычайно грязная, но довольно светлая и сухая клетка, шага в три шириною и шагов пять в глубину, с деревянной полкой, прибитой к стене вместо кровати, и неизбежной смрадной парашкой: довольно гнусное помещение для такого чистоплотного человека, как Лукьян, но все же довольно сносное для острога.

Два раза в день ему приносили еду, состоявшую из хлеба и кислого борща в полдень и

жидкой тюремной кашицы вечером. Гулять его водили редко – раз в пять дней, и то минут на десять. Но он прекрасно себя чувствовал в тюрьме и нисколько не тяготился заключением. В первый же день он обратился к сторожу с необычной в остроге просьбой принести ему евангелие.

Просьба была передана смотрителю, и так как чтение духовных книг поощрялось, то на другой день книга ему была доставлена… Он проводил время, перечитывая знакомые страницы.

Вечером, когда наступил час молитвы, он попробовал запеть вечерний псалом, но сторож грозно окликнул его: в тюрьме петь не полагалось. Лукьян тотчас покорился и стал петь неслышно про себя.

Так тянулся день за днем до описанного выше допроса, после которого в тюремной жизни Лукьяна произошла резкая перемена. На другой же день после допроса к нему зашел Паисий вместе с смотрителем. Осмотревши камеру, он выглянул в окошко и полюбовался видом, который оттуда открывался.

– Что это, Петр Иванович, – с улыбкой сказал он, обращаясь к смотрителю, – вы, кажется, из острога гостиницу для господ проезжающих сделали?

– Как так для проезжающих? – удивился смотритель. – У меня, кажись, жильцы постоянные.

– Ну, так комнаты со столом и с мебелью, – шутил Паисий, обводя глазами клетку.- Да коли вы их в таких хоромах держать станете, они и уходить не захотят.

Смотритель осклабился.

– Ну что ж, это мы можем переменить. У меня много палат, и палаты все разные, смотря по гостям.

Они обменялись несколькими словами вполголоса.

Паисий заметил в эту минуту торчавший из кармана арестанта корешок книжки. Он

бесцеремонно вынул ее оттуда.

– Это что? – укоризненно обратился он сперва к смотрителю.

– Евангелие, – сказал тот. – Это дозволяется законом. Это на пользу.

– Кому на пользу, а таким на вред, – сказал Паисий. Они ушли, унеся с собою книжку.

Не прошло и получаса, как произошла та перемена, которую сулило это посещение.

К Лукьяну вошло двое сторожей: один, надзиравший за его коридором, другого Лукьян еще

не видел. Это был высокий жилистый старик с ястребиными глазами и тонкими бледными

губами, сжатыми в жесткую прямую линию. Его звали Арефьевым. Он был специальный сторож

над "строптивым" отделением.

– Этот, что ли? – спросил он товарища, указывая пальцем на невзрачную фигуру Лукьяна.

– Этот самый, – отвечал сторож. Арефьев сделал презрительный звук носом.

Он любил настоящих строптивых, которых стоило усмирять. А этот, жиденький, кроткого

вида старикашка, – какой из него может быть строптивый?

– Ну ты, архангел, собирайся, – приказал он.

Лукьян был готов в одну минуту. Его новый командир повел его по узким, длинным

проходам. Сделав несколько поворотов, они спустились в нижний этаж.

– Деньги при тебе есть? – спросил Арефьев без обиняков.

– Нет. Что было в мошне – отобрали.

– Эх ты, простофиля, – не знаешь, что ли, что припрятать можно. Ну а родные аль знакомые

такие, чтоб помочь тебе согласны, есть?

– Да, есть, – отвечал Лукьян, вспомнив с умилением о прощании с братией.

– Хочешь, чтобы я тебя в лучшую клетку посадил? У меня ведь разные.

– Спасибо, добрый человек, – отвечал Лукьян.

– А что дашь? Пять рублей с тебя за простоту твою, так и быть, возьму. Идет?

Лукьян покачал головою.

– "Не надлежит мзды взимать за доброе дело".

– Так ты вот что? – сказал Арефьев со злой усмешкой. – Ну, ладно же, вот поговори тут на досуге.

Он отворил большим ключом тяжелую кованую дверь и толкнул его в какую-то темную смрадную нору. Дверь захлопнулась. Щелкнул железный засов, и Лукьян очутился в совершенной темноте. Он ощупал стены, холодные, покрытые какой-то мягкой слизью. Пол был скользкий от нечистот. Воздух был до того удушлив и пропитан зловонием, что с непривычки у Лукьяна закружилась голова. Но все это было ничто в сравнении с тем, что он увидел несколько минут спустя. Вверху дверь не совсем плотно прилегала к косяку, и свет узкой полосою просачивался в эту нору. Когда глаз Лукьяна привык к темноте, этого чуть брезжущего света было достаточно Лукьяну, чтобы рассмотреть кусочек потолка и один из задних углов своей страшной клетки. Она буквально кишела насекомыми. То, что он принял за слизь на стенах, были тысячи серых, мягких, отвратительных мокриц, которые покрывали их, точно тисненые обои. Но потолок был еще ужаснее: на нем медленно двигались целые стада клопов, которые налезали друг на друга, цеплялись и висли вниз отвратительными гроздьями, от которых ежеминутно отпадали куски, шлепаясь об пол, и могли упасть ему на голову, в лицо, за шею.

Лукьян весь задрожал: он не мог выносить насекомых, а тут он отдавался им живьем на съедение, точно был завязан с головою в мешок, ими наполненный. Почуяв добычу, вся эта голодная гадость зашевелилась. Что-то уже поползло по его телу, облепляло и грызло его. Не помня себя, Лукьян бросился к двери и стал колотить ее кулаками, требуя смотрителя.

Гробовое молчание было ему ответом.

Утомившись от бесплодных усилий, Лукьян вздумал присесть на пол, выбрав чистое место.

Но новые фаланги паразитов ринулись на него снизу. Он вскочил и, надвинув шапку на уши,

чтобы предохранить по возможности голову, принялся ходить взад и вперед: это было единственное средство сколько-нибудь защищаться от его жадных врагов.

В полдень Арефьев принес ему кружку воды и кусок черного хлеба – карцерную пищу на целый день.

– Ну что, хороша квартира? – сказал он, оскаливая зубы.

Лукьян молчал.

– Хочешь переведу в другую? Только теперь уж шалишь: меньше красненькой и не подступайся.

Лукьян молчал. Если б предложение откупиться от страдания за веру было сделано час тому назад, в первую минуту нервного отвращения, он по телесной слабости, быть может, согласился бы. Но эта ужасная минута прошла, нервы притупились, и у него хватило силы устоять против искушения.

– Дашь? Говори, – сказал Арефьев, смягчаясь.

– Не дам, – сказал Лукьян. – Крест посылается от Бога человекам во спасение. Грех откупаться от него.

– Вишь ты какой! – сказал Арефьев тоном, можно сказать, приятного удивления. – Ну ладно же, посмотрим, что дальше запоешь.

Он сунул арестанту его скудную пищу и запер его снова.

Лукьян не мог есть. Он поставил у двери кувшин с водой, прикрыв его хлебом, и снова принялся ходить взад и вперед по своей клетке.

Часа через два голод стал мучить его. Он нагнулся и протянул руку к хлебу: пальцы его раздавили что-то мягкое и скользкое. Он с отвращением бросил кусок

на землю: серые мокрицы успели облепить его сплошной массой. Весь этот день он остался голодным.

С наступлением сумерек в клетке наступила абсолютная темнота: держа руку перед глазами, Лукьян не мог разглядеть собственных пальцев. Ему пришлось ходить, вытянув вперед руку, чтобы не удариться невзначай о стену. Но потом он приспособился, так что мог ходить свободно в темноте, поворачиваясь машинально у самой стены. Пробили вечернюю зорю: Лукьян все ходил. В тюрьме зажглись огни. Вступил ночной караул, а Лукьян все ходил взад и вперед по своей отвратительной клетке, голодный, усталый, еле передвигая ноги, пока, наконец, не будучи дальше в состоянии бороться со сном, он не сел у двери и не заснул как убитый.

На другое утро его посетил смотритель.

Лукьян указал ему на стены и на пол. Тот пожал плечами.

– Тебя приказано в карцере держать, а карцер – не баня.

В виде снисхождения он приказал поставить ему парашку и велел подавать ему воду в кувшине с крышкой.

Прошло три ужасных дня. Лукьян осунулся и ослабел. Он шатался на ногах, точно после трудной болезни. Но он немного привык к своему отвратительному помещению. Гады, населявшие его нору, уже не мучили его, как вначале. Он мог подолгу сидеть у двери или у стены, в промежутках между бесконечным хождением взад и вперед. Его ни разу не выводили на свежий воздух. Только раз в день отворялась дверь его клетки, и Арефьев вносил ему его дневное пропитание. Первые дни Лукьян съедал с жадностью хлеб и ставил воду в угол, выпивая ее по порциям. Но после первых трех дней даже аппетит стал у него пропадать в этой удушливой норе. Он медленно умирал.

В конце недели его позвали вторично к допросу.

Глава XIV

На этот раз Паисий был один, и допрос продолжался недолго. Лукьяна привел Арефьев

одного. Степана оставили в его клетке: с ним Паисий не находил нужным беседовать.

Лукьян был неузнаваем, так он побледнел и исхудал за неделю своего ужасного

заключения. Паисий устремил на него долгий, внимательный взгляд, каким обмениваются

противники, готовящиеся вступить в бой. Враг его был достаточно ослаблен: так по крайней

мере ему казалось.

– Ну что, надумался? – кинул он ему предварительный вопрос.

Лукьян не сразу ответил. Ему хотелось затянуть допрос, чтобы только пробыть подольше в

этой большой, просторной комнате и подышать свежим воздухом.

Паисий не торопил его ответом, полагая, что тот раздумывает и колеблется.

– Церковь принимает и позднее раскаяние, – мягко начал он, – и радуется одному

раскаявшемуся грешнику больше, чем верности сотни своих сынов. Как разумная мать наказует

своих непокорных детей для их же блага, так и она; дети, войдя в разум, ее же за это благодарят.

К тебе применены были меры строгости по моему приказу. Я скорбел, тебя любя, потому в

нужде человек смиряется духом перед Богом и перед людьми, которые от Бога поставлены ему в

наставники и начальники.

Паисий несколько времени говорил в том же елейном тоне, но, не получая никакого

поощрения со стороны своего слушателя ни словом, ни выражением лица, он вдруг оборвал

свою речь и сказал грубым, вовсе не пастырским тоном:

– Чего же ты молчишь, как колода? Язык у тебя отняло, что ли?

– Что ж мне тебя перебивать, твое преподобие, – отвечал Лукьян. –

Говоришь ты сладко,

словно соловей поет. Мягко ты стелешь, да жестко спать. В таком месте ты держал меня, что не

токмо человека, а собаку или свинью грех посадить…

– И хуже еще будет тебе, коли будешь упорствовать. Лучше одному человеку вовсе

погибнуть, чем тьмам, тобою соблазненным, быть вверженным в геенну огненную.

Паисий повторял в тысячный раз аргумент всех инквизиторов. Но для Лукьяна в его словах

было нечто новое. Он никогда не думал о своей ответственности за доверившиеся ему души и

был поражен.

Отступив шаг назад и прижав руки к груди, он поднял глаза кверху.

– Господи! – воскликнул он в волнении, – если не твою правду возвещал я людям, если не

во спасение, а в погибель братьям моим были мои слова, то молю, как награды, за всю мою

ревность о тебе, за муки и поругания – их же претерпел во имя твое, – порази меня гневом

своим, отними мой греховодный язык, закрой темнотою глаза мои, чтобы не читали они блудно

словеса твои, иссуши руки мои, чтобы не воздымал я их к тебе в неугодной молитве!

Он замолчал. Вспыхнувшее на минуту лицо его побледнело. Опустив ресницы и руки, он с

верою и трепетом ждал.

Он был великолепен в эту минуту, и не одну сотню душ потряс и увлек бы он, если бы

стоял перед толпою.

Но на него смотрела пара рысьих глазок Паисия, который был застрахован от увлечения.

– Не юродствуй, – крикнул он. – Не для кого. О себе подумай и о семье. Я тебя сгною в

твоей норе, ты у меня света божьего не увидишь. В Сибирь, на каторгу я тебя угоню, коли не

покаешься.

– Над телом вы властны, а над Душою владыка один Бог, – сказал Лукьян. – Делай что

можешь худшее. Кровью мучеников плодилась церковь, когда была воистину Христовою. Будет

плодиться и теперь, вернувшись к Христу.

Паисий закусил свои тонкие губы от бешенства. Ему захотелось броситься и топтать ногами этого дерзкого упрямца, презиравшего и его и его громы. Но он сдержал себя.

Оставалось последнее средство, и он хотел испытать его прежде, чем признать себя побежденным.

Он выпил стакан воды и, взяв в руку перо, написал несколько строк на большом листе бумаги.

Лукьян машинально следил за его пером, выводившим крупным четким почерком строку за строкой. При своей старческой дальнозоркости он разобрал заглавную строку, где стояло: "Я, нижеподписавшийся, Лукьян Петров, сим объявляю…"

Дальше он не мог разобрать и не старался, сообразив, что это, должно быть, протокол допроса, который ему придется подписать.

Окончив работу, Паисий встал из-за стола и сказал примирительным тоном:

– Послушай, Лукьян, ты человек умный и не станешь губить себя попусту. Мы не хотим тебе зла и веры твоей, какая там она у тебя ни есть, мы насиловать не хотим. Верь себе и молись, как знаешь. Мы тебя неволить не хотим. Но мы поставлены от Бога и царя блюсти православие. Ты у нас завел эту ересь – новое это учение, что ли. До тебя у нас этого не было.

Епархия примерная была, и без тебя опять будет примерной. Нам только этого и нужно. Вот, подпиши эту бумагу, в которой сказано, что ты от проповеди и совращения обещаешь воздержаться, и присягни вот на этом кресте, и мы отпустим тебя с миром, и ни тебе, ни твоей семье не будет никакого притеснения.

Одной рукой он подавал Лукьяну крест, другой подсовывал бумагу.

Лукьян отстранил рукою крест и даже не посмотрел на бумагу.

– Лицемер, – сказал он, – так вот твоя ревность о вере! чтобы перед начальством выслуживаться! Отойди от меня, искуситель. Не соблазнишь ты меня льстивыми обещаниями, как не соблазнил угрозами.

Лицо Паисия исказилось, глаза позеленели от бешенства. Он поднял над головою крест и с размаху ударил им плашмя по лицу Лукьяна.

Старик пошатнулся. Кровь выступила у него на лице. Но он устоял на ногах.

– На хорошее дело ты крест с собою носишь, – проговорил он, поднимая руку, чтобы защититься от нового удара.

Но Паисий его не слушал.

– Арефьев, сторож, кто там! – закричал он.- Сюда! Бери его, тащи его, мерзавца, в карцер. Пусть он сгниет у тебя там. Он на меня поднял руку.

Арефьев, дремавший в прихожей, быстро вбежал, как собака, которую натравили на зверя, и, схватив Лукьяна за ворот, вытолкал его за дверь, осыпая его пинками. Он не выпускал его из рук до самой двери его камеры, и, перед тем как доставать ключ, он еще раз встряхнул его за ворот на расставание, точно жалея, что приятному развлечению наступил конец.

Он отворил дверь Лукьяновой клетки, которая во все это время ни разу не проветривалась, и оттуда повеяло таким удушающим зловонием, что Лукьян с ужасом отшатнулся. Неужели он прожил целых десять дней в этой клоаке? Ему показалось невозможным прожить там теперь и часу.

– Не пойду, – вскричал он, упираясь руками в косяк двери. – Сажай меня в такую клетку, где людей держать можно. Я к смотрителю хочу.

– А вот этого не хочешь ли, вместо смотрителя? – сказал Арефьев,

ударив его ключом по голове.

Лукьян схватил его за руку и неожиданным движением вырвал ключ и отбросил его шагов на двадцать по коридору.

Арефьев бросился на него с кулаками, стараясь впихнуть его в клетку, но Лукьян боролся, как человек, которого хотят столкнуть в пропасть, и такова была сила отчаяния, что, несмотря на его физическую слабость, сторож не мог с ним справиться. Тогда он дал свисток, и к нему прибежало два других сторожа из соседних коридоров. Они все трое набросились на Лукьяна, колотя его кулаками, ключами по голове, по шее, по чем попало. В минуту он был опрокинут и смят, и Арефьев, совершенно остервенясь и не помня себя, стал бить и топтать его ногами.

Товарищи, старались оттащить его, опасаясь, чтобы он как-нибудь не убил своего арестанта и не подвел их всех под неприятность. Точно освирепевший бульдог, оттянутый за ошейник от своей жертвы, Арефьев старался освободиться из их рук, чтобы снова дорваться до Лукьяна.

– Эк тебя разобрало, – урезонивал его старший унтер. – Аль забыл про Денисова? Ну наклади ему в загривок, коли провинился. А зачем же калечить? – продолжал он наставительно.

– Тебе же потом достанется.

Про Арефьева сами сторожа говорили, что он не человек, а зверь. Если б его не покрывало начальство, ему давно бы следовало гулять по Владимирке за свое кровопийство и издевательство над своими жертвами, из которых Денисов был самой свежей.

– Пустите, не трону, – сказал Арефьев остепенясь.

Товарищи выпустили его из рук, но все еще недоверчиво следили за ним глазами, боясь, чтобы им снова не овладело то, что они называли дурью. Но Арефьев

возвратился в свое
нормальное состояние.

Лукьян лежал неподвижно и тяжело сопел, точно загнанный конь. Унтер взял его за ворот
полукафтанья и потащил, как мешок, в камеру.

– Ну, запирай поскорей. Нам нужно на свои места, – сказал он Арефьеву.

Тот взялся за скобу тяжелой дубовой двери, окованной вдоль и крест-накрест железными
скобами, и со всего размаха захлопнул ее.

Он не заметил, или сделал вид, что не заметил, что арестант был не вполне втащен в
камеру. Правый его носок зацепился за косяк и неминуемо должен был попасть под удар двери.

Раздирающий крик раздался изнутри камеры. Унтер отворил дверь, чтобы узнать, что
случилось. Лукьян корчился от боли и судорожно дергал правой ногою.

– Что, пальчики прищемило? Сам виноват, что не подобрал, – сказал он рассудительно и
прибавил в виде утешения: – Ничего, до свадьбы заживет. "Такому старику следует, впрочем,
сказать: не до свадьбы, а до могилы", – заметил он про себя, на этот раз совершенно
основательно.

От страшной боли Лукьян долго не мог прийти в себя. Нога его горела, точно в огне, и
ныла, как тысяча больных зубов. Ступня его была раздроблена ударом тяжелой двери, несмотря
на толстые сапоги. Крови не было видно. Но вся ступня страшно распухла от внутреннего
излияния, и сжимаемая сапогом нога ныла и болела до одурения.

Прислонившись спиной к стене, Лукьян начал тихо стонать. Арефьев слышал эти стоны, но
не обратил на них внимания: после хорошей встрепки арестанту полагается стонать.

В полдень он занес ему его дневную порцию: кусок хлеба и кружку воды, и поставил с ним
рядом.

Закрыв наполовину глаза, Лукьян продолжал стонать.

– Что, восчувствовал? – сказал Арефьев. – Будешь знать вперед, как у меня буянить.

Лукьян не пошевельнулся и не дотронулся весь день до хлеба, предоставив его на съедение

своим отвратительным сотоварищам по заключению.

К ночи его ноге как будто полегчало. Боль унялась, точно ступня задеревенела или

замерзла. Голень, правда, начала теперь ныть и гореть, но не так сильно, как прежде ступня.

Лукьян мог даже забыться под утро полудремотою. Сон освежил его, и на другой день он мог

съесть часть своего хлеба. Но к вечеру ему опять стало хуже, а за ночь он расхворался совсем.

Его бросало то в жар, то в озноб, голова была как в чаду. На язык подвертывались

бессмысленные слова. У него начиналась горячка.

Когда на следующий день Арефьев принес ему обед, то он застал его в бреду, с

воспаленным лицом и дикими глазами. Горячка была в самом разгаре. Арефьев испугался: ему

грозила новая "история", между тем как старая была еще свежа в памяти. Он запер клетку и,

сдав ключи подручному, собрался идти к острожному фельдшеру, тихонько позвать его к

больному, которого он решил перенести в лучшую клетку, чтобы он как-нибудь не окочурился у

него на руках, как Денисов. Но в это время в коридор вошел сам смотритель и сурово крикнул

ему:

– Что ты со штундистом наделал, мерзавец?

– Ничего, ваше благородие, – ответил Арефьев, вытягивая руки по швам. – Буянил он

третьего дни, драться начал. Так мы его немножко тронули. Теперь отлеживается.

– Знаю я, как ты людей трогаешь, мерзавец, – сказал смотритель. – Где он у тебя, покажи.

Арефьев повел смотрителя к Лукьяновой двери и отворил камеру.

Смотритель не обратил внимания ни на зловоние, ни на отвратительную грязь клетки: это было в порядке вещей. Открыв широко дверь, чтобы осветить лучше камеру, он стал осматривать арестанта. На голове видна была запекшаяся кровь, лицо было покрыто синяками от жестоких побоев. Одна нога лежала в исковерканном, неестественном положении.

– Ишь как отделал… Опять под уголовщину подведешь, собака! – крикнул он, наградив своего верного слугу здоровой зуботычиной.

Арефьев встряхнул головою, не смея защищаться.

– Сам драться полез, ваше благородие, – оправдывался он.

– А ногу-то, ногу зачем ему исковеркал, мерзавец? – наступал на него смотритель.

– Нечаянно дверью защемило, ваше благородие,- сказал Арефьев, отстраняясь от нового удара.

– Чего ж ты фельдшера не позвал, скотина?

– Сейчас заметил и шел звать, – сказал Арефьев.

– Ну, ступай зови.

Явился острожный фельдшер и объяснил, что у арестанта сильная горячка и что его немедленно нужно перенести в больничную палату. Принесли одеяло, и четыре сторожа перенесли Лукьяна в правый корпус, где находилось больничное отделение. Когда его стали раздевать, то правый сапог пришлось разрезать, так как снять его не было возможности.

Взглянув на ногу, фельдшер только засвистал сквозь зубы и покачал головою. Нога была вся темно-багровая, с черными подтеками. Он предвидел необходимость ампутации. Городской доктор, заезжавший в больницу на часок по послеобедам, подтвердил то же и предложил смотрителю перевести труднобольного к себе, в городскую больницу, на что смотритель тотчас же согласился. В бумаге, с которой он отправлял арестанта, не было сказано ни слова о побоях,

бывших причиной увечья, и болезнь была выставлена как следствие случайного раздробления

ступни, защемленной по неосторожности самого арестанта при запирании двери его камеры.

Смотритель всегда покрывал своего верного слугу: ему полезен был "для поддержания

дисциплины" этот зверь, готовый растерзать по первому знаку всякого, кого ему укажут. За это

можно было смотреть сквозь пальцы, если он терзал иногда людей без приказания, для

собственного удовольствия.

Глава XV

Лукьян обязан был посещением смотрителя и переводом в городскую больницу не кому

иному, как Степану, который случайно узнал от сторожа о том, что делалось с его другом.

Арефьева не любили его сослуживцы за сварливый нрав и за нарочитую зверскую жестокость,

которая каждую минуту могла подвести под судебное следствие весь служебный персонал.

Известие о жестокой расправе со штундистом разнеслось по острогу и передавалось из уст в

уста, даже в преувеличенном виде. Рассказывали, что Арефьев связал своего арестанта и потом

тянул его через порог клетки, дробя ему кости и мочаля его ноги дверью. Этому верили, потому

что от такого зверя всего можно было ожидать. Об Арефьевой расправе говорили сперва между

сторожами, потом известие как-то перешло и к уголовным.

Раз – это было на третий день после побоища – Степана повели гулять. Он гулял один, в

особом дворике, отдельно от уголовных. Но в коридоре он столкнулся с кучкой уголовных,

которых вели обратно в камеры, и один из них крикнул ему на ходу: "А слыхал ты, как твоего-

то Лукьяна, что коноплю, измочалили?"

Сторож толкнул говорившего в шею и пригрозил, что и ему так будет, если он посмеет

разговаривать. Тот тотчас же замолчал. Так Степан ничего больше и не узнал. Но и эти

несколько слов его встревожили. Он подумал, что Лукьяна подвергли жестокому сечению.

Вернувшись в свою камеру, он выждал, когда в его коридоре никого не было, кроме его

сторожа.

– Пафнутьич, а Пафнутьич, – позвал он его к себе. Тот подошел.

– Чего тебе? – сказал он.

Они жили довольно дружно с Пафнутьичем, старым отставным солдатом, который в долгие часы караула от скуки подолгу болтал со своим арестантом, пересказывая ему про свои походы и расспрашивая его о всякой всячине.

– Скажи, Пафнутьич, правда ли это, что Лукьяна наказывали? – спросил Степан.

– И вовсе не наказывали, – сказал Пафнутьич, – а все этот зверь Арефьев, чтоб ему пусто было. И сам пропадет когда-нибудь, туда ему дорога, и других подведет. Ни за что ни про что избил человека до полусмерти и ногу ему, сказывают, дверью раздробил. И добро бы еще строптивца, а то такого смирнягу, как Лукьян. У Степана все внутри похолодело.

– Как, ногу человеку раздробил? Да чего же другие-то смотрели? Что ж теперь с ним?

– С кем, с Арефьевым? – спросил Пафнутьич. – Да что ему делается! Ходит себе гоголем, ему и горя мало.

– Нет, я про Лукьяна, – сказал Степан.

– А Лукьян лежит себе в клетке.

– Да ведь он там помрет!

– Ну что ж, может и помрет. У него уж не один человек так помер, и все ему с рук сходит, подлецу.

– К смотрителю! Веди меня к смотрителю! – закричал Степан не своим голосом.

– Да что ты, с ума спятил? Тебя же в карцер посадят, под начало тому же Арефьеву, чтоб не мешался не в свое дело.

– Веди к смотрителю! – кричал Степан, не помня себя.

– Сам ступай, а я тебе не водчик, – сказал Пафнутьич, отходя на свое место.

Степан начал "бунтовать". Он принялся стучать что есть мочи в дверь, кричать, бить стекла.

Сбежались сторожа и связали его. Не обошлось без колотушек. Но Степан не унимался. Он продолжал биться и кричать, что хочет видеть смотрителя и не

успокоится, пока его либо не

убьют, либо не позовут смотрителя.

Решили доложить смотрителю, который через несколько времени явился.

– Ты это что, бунтовать выдумал? – напустился он на Степана. – Так у меня расправа

коротка.

– Я не думаю бунтовать, – сказал Степан. – А людей истязать и ломать им ноги не

полагается по закону…

– Кто тебя истязал? – перебил его смотритель. – Кто тебе ломал ноги? что ты мелешь?

– Не мне, а Лукьяну Петрову, моему товарищу… – начал Степан.

– Не тебе? Так чего ты мешаешься? Тебе что за дело? Что ты тут за ревизор выискался? И

откуда ты узнал, что с этим Лукьяном сделали, раз я ничего не знаю?

– Уж вы извольте сходить и посмотреть сами, ваше благородие, тогда и судите, правду ли я

сказал, или нет, – сказал Степан.

Смотритель велел посадить Степана на хлеб и на воду за буйство и дерзость. Однако

послушался его совета и пошел узнать, в чем дело: привычки Арефьева были ему очень хорошо

известны, и историю нужно было потушить в самом начале.

В тот же вечер Пафнутьич с виноватым видом подходил к оконцу Степановой двери.

– Васильич, а Васильич! – начал он заискивающим тоном.

Он чувствовал некоторые угрызения совести и был благодарен своему арестанту за то, что

тот его покрыл, не сказавши смотрителю, через кого он узнал о расправе с Лукьяном.

– Чего? – раздался из глубины спокойный голос Степана.

– Ты, Васильич, на меня не гневайся за утрешнее, – сказал он, – насчет, значит, веревки али

колотушек там… Сам знаешь, служба.

– Бог тебя простит, Пафнутьич, – сказал Степан, – я на тебя не гневаюсь. Христос терпел, и

мы все терпеть должны.

– Очень уж ты меня ублаготворил сегодня, Васильич, – продолжал старик. – Мне бы уж как досталось, коли б ты сказал, что это я тебе про Лукьяна-то рассказал. Как спросил это он тебя – у меня аж душа в пятки ушла. Пропал, думаю. А ты, спасибо тебе, молчок. За мое зло мне же добром отплатил.

– Так нам Христос велел, брат, – сказал Степан. – Да только тут какая же моя заслуга! Я же тебя про Лукьяна выспросил, и потом мне же тебя выдать?

– Нет, не говори. Другой бы выдал. Со зла бы выдал. А иной так и того хуже: ты ему делаешь как лучше, а он возьмет да ни с того ни с сего такую тебе какую ни на есть пакость выкинет, что только плюнешь и руками разведешь. Нет, не говори, подлец теперь народ стал.

Он долго продолжал по-стариковски причитать на эту тему.

Когда он замолчал, Степан стал говорить, что в мире столько зла оттого, что люди Бога забыли. Христово слово читают и именем его зовутся, а сердцем далеки от него. Он говорил долго, вполголоса, чтобы их не услышали и не помешали их разговору. Говорил он вразумительно и задушевно. Пафнутьич слушал, не спуская с него глаз. Но по лицу его было видно, что он ничего не понимает. Непривычная к мысли голова работала туго, и все эти горячие речи вызывали в нем только недоумение. Одно он понимал, что с ним говорят, как с братом, а не как с тюремщиком и никому не нужным стариком, и это трогало его и привязывало его к молодому проповеднику.

– А насчет, что тебя приказано месяц морить голодом, – вставил он, воспользовавшись первой паузой, которую Степан сделал, прежде чем приступить к объяснению какого-то интересного пункта веры, – насчет этого ты, брат, не сумлевайся. Я тебе тихонько из своего носить буду. И коли ежели тебе на волю кому весточку подать нужно:

жене, матери али

полюбовнице, что ли, – ты только слово скажи, либо записку дай. Мигом снесу и денег не

возьму ни копейки.

– Спасибо,тебе на добром слове, – сказал Степан с чувством. – Нет у меня ни жены, ни

полюбовницы, а семье моей не хочу я открываться до поры до времени… А весточку мне есть

кому послать, коли есть у тебя парнишка такой, чтоб доставить.

– Есть, как же, – отвечал Пафнутьич. – Со мной живет племянник-сирота, покойной сестры

моей сын, Митюшкой прозывается. Он у нее от первого мужа, потому она, Матреша, – сестра,

значит, – за двумя мужьями была. Первый-то…

– Так вот, – перебил его Степан, ты и пошли этого самого Митюшку к нашим в

Маковеевку. Это лукьяновская деревня так зовется. Это в тридцати верстах отсюда, недалеко от

Книшей, по З-скому тракту. Пусть твой Митюшка спросит там Павла и скажет ему, какая с

Лукьяном беда приключилась, и пусть они пришлют кого-нибудь из братьи присмотреть за

Лукьяном. В больнице, сам знаешь, какой призор.

– Известно, – согласился Пафнутьич. – Завтра же Митюшку пошлю.

На другой день ранним утром Митюшка – белобрысый паренек лет пятнадцати, в

веснушках и вихрах – быстро шагал с маленькой котомкой на палке по большой З-ской дороге.

К ночи он добрался до Маковеевки. Деревня спала. На улице не было ни души, а мальчик

боялся постучаться. Долго он бродил взад и вперед по пустынной улице в напрасном ожидании,

что авось кто-либо покажется, у кого можно бы спросить.

Митюшка зашел за угол взглянуть, нет ли кого на задворках, и тут увидел на

противоположном конце деревни свет в одном окне. Это была изба Павла, который читал у себя

в светелке. Митюшка направился туда. Обогнувши деревню, он

подошел к забору и, перегнувшись, стал пристально смотреть на свет. Под ним хрустнула лозина. Вдруг окошко отворилось, и кто-то выглянул оттуда. Митька опрометью бросился бежать и остановился только тогда, когда у него стало захватывать дыхание.

Обернувшись назад, он увидел, что окно было заперто и никого там не было, но оно продолжало светиться. Его опять потянуло туда. Осторожно, крадучись, подошел он к забору, но в это время чей-то мягкий, ласковый голос окрикнул его:

– Чего тебе нужно, паренек?

Митюшка хотел было снова дать стречка, но тот же голос повторил:

– Не бойся, чего ты? Я тебе худа не сделаю. Митюшка остановился. Ему было ужасно любопытно узнать, кто этот ласковый человек.

– Может, тебе нужно чего – дров, хлеба, одежи? – сказал Павел. – Так ты только скажи. Я дам. А так, тайком по задворкам ночью ходить, нехорошо, паренек, – прибавил незнакомец, понизив голос. – Ты еще мал. Долго ли до греха?

– Ничего мне не нужно, – проговорил он. – Меня прислали… Мне нужно знать, где тут живет Павел-штундарь. У меня к нему дело, – заключил он с гордостью.

– Так я самый Павел и есть. Кто тебя послал?

– Дядя, – сказал он. – При тюрьме служит сторожем. Насчет Лукьяна.

– Иди, иди в горницу, – сказал Павел. – Расскажешь там.

Он помог пареньку перелезть и ввел его в избу. Мать уже спала в соседней комнате. Павел разбудил ее, и Митюшка передал им обоим, что знал про Лукьяна.

– Надо ехать завтра же, – сказал Павел.

– Да, надо, – сказала Ульяна.

Она поставила пареньку ужин, который тот стал есть с волчьим аппетитом, и уложила его спать.

– Как будешь в городе, к Морковину заезжай,- сказала она сыну. – Он тамошний и поможет тебе.

Павел сомнительно покачал головою.

– Заехать-то заеду, – сказал он, – да не больно я на его помощь надеюсь. Робок он уж очень.

На другой день утром Павел выехал со своим молодым товарищем, поручив матери оповестить братию.

К сумеркам они были уже в городе. Павел подвез парнишку к дому на Острожной слободе и зашел к Пафнутьичу, но старик мало что мог сообщить ему про Лукьяна. Он сказал, что его перевели в городскую больницу, и дальше он ничего о нем не знал. Павел поехал на противоположный конец города, где жил его благоприятель.

Морковин никого не ждал, и неожиданный стук в такую позднюю пору испугал его.

– Кто там? – спросил он, прежде чем отворить.

– Это я, Павел, отворяй.

Калитка отворилась, и в ней показалась радушная и озабоченная фигурка самого Морковина.

Это был человечек лет сорока пяти, маленького роста, с жиденькой козлиной бородкой и птичьим лицом, одетый в серый демикотоновый подрясник, протертый на локтях. Он донашивал дома свои старые церковные костюмы, так как был лет пять тому назад соборным причетником. При его тихом, робком нраве ему пришлось много терпеть и от товарищей и от церковного начальства. Он стал задумываться о неправде людской и о вере и, встретившись с Лукьяном, был тронут его братским, любовным учением. Он перешел в штунду, но не открыто, воздерживаясь от явного оказательства, за которое ему, как бывшему церковному служителю, досталось бы особенно сильно. Но он бросил службу и теперь промышлял огородничеством и, при случае, мелким ходатайством в присутствиях по делам бедных людей.

Морковин зажег тоненькую сальную свечку и ввел гостя в свою светелку, где посадил его в почетном углу, под образами. Страха ради иудейска они не были убраны, как обыкновенно бывает у штундистов, а только задернуты занавеской, которую можно было отдернуть в случае появления властей.

Оказалось, что Морковин не знал еще об избиении и болезни Лукьяна, но он слышал от знакомого консисторского писарька про следственную комиссию и мог рассказать Павлу, в каком скверном положении находилось дело Лукьяна и его товарища.

– Беда, каких вин на Лукьяна написали. Под каторгу подводят, – закончил он.

Павел задумчиво слушал. Его не столько тревожила перспектива Сибири, сколько опасения за теперешнее положение Лукьяна.

На другое утро Павел был уже в приемной городской больницы. Тут он сперва ничего не мог добиться; но когда он догадался сунуть фельдшеру двугривенный, тот сказал ему, что Лукьян, точно, лежит у них в больнице, но что к нему без позволения доктора никого не пускают.

– Плох он больно, – прибавил фельдшер.

– Что ты! – вскричал Павел с испугом.

– Да вот увидишь сам. Дождись главного доктора. Я уж похлопочу, чтоб тебя пустили.

Павлу пришлось часа два прождать прихода главного врача, который служил также при полиции; он объявил ему, что для свидания с Лукьяном нужно особое разрешение от следственной комиссии.

Пришлось идти в консисторию выправлять бумагу. Паисия в присутствии не было, и Павлу сказано было наведаться на другой день. Не помогли ни просьбы, ни двугривенные: пришлось вернуться домой ни с чем. На другой день он пришел снова, взяв с собой Морковина. При

помощи зелененькой и при содействии морковинского знакомого – писарька – ему удалось

проникнуть в кабинет, где на этот раз заседал Паисий; но тут его ожидала полная неудача.

– А, ты из Маковеевки, – сказал ему Паисий, выслушав его просьбу. – Я тебя узнаю. Что ж

ты, родственник Лукьяну? – осведомился он.

Павел должен был сказать, что не состоит с Лукьяном в кровном родстве.

– Так, так, – сказал Паисий. – Значит, в родстве духовном. Из его паствы будешь?

– Мы, батюшка, соседи, и родственники попросили меня наведаться, – осторожно сказал

Павел, желая уклониться от прямого ответа на вопрос и не согрешить, сказавши неправду.

– Понимаю, – насмешливо проговорил Паисий. – Соборные, значит, послали к апостолу за

благословенном. А паства небось собралась и ждет благодатного послания?

– Батюшка, до посланий ли ему теперь! – воскликнул Павел. – Он теперь в больнице лежит

после смертного боя, который принял в тюрьме.

Паисий сделал вид, что ничего не знает.

– Болен он, говоришь ты? Бой ему был в тюрьме? Ну, значит, за дело, потому зря бить не

станут. Не могу разрешить тебе свидания. Ступай!

– Батюшка, – уговаривал его Павел, – он, может быть, при смерти. Неужто это по-

христиански – не дать человеку попрощаться со своими перед смертью? У него семья. Может,

какие распоряжения будут.

– Да, да, – говорил Паисий. – Знаю. Ступай. Не могу разрешить тебе свидания и времени с

тобой разговаривать больше не имею.

В это время вошел служка и что-то шепнул Паисию.

– Проси, проси, – торопливо сказал он, запахивая ряску.

Паисий встал со своего места.

– Ступай же! – зашипел он на Павла, который все стоял, переминаясь

на месте.

Павел поклонился и вышел. Он видел, с кем имеет дело, и понимал, что от этого попика

ему ничего не добиться.

У дверей он встретил Валериана, которого служка вел в кабинет Паисия. Это он и был тот

посетитель, о котором докладывали.

Глава XVI

Целый день Лукьян не приходил в память. Тяжелое оцепенение сменилось диким бредом.

Но к вечеру он уснул тихим, спокойным сном. Он проснулся с ощущением ужасной слабости и

усталости, но и какого-то безмятежного спокойствия, граничащего почти со счастьем. Боли он

никакой не чувствовал. Его изменившаяся обстановка: постель с бельем, большая светлая

комната, которая после его ужасного логовища могла назваться настоящею палатою, – все это

действовало на нервы еще до возвращения сознания.

Открывши глаза и в первый раз бросив вокруг разумный взгляд, Лукьян не мог понять в

первую минуту, где он и что. По обе стороны и впереди стояли рядом койки. Рядом с ним

справа лежал какой-то тоже труднобольной и тихо стонал. Но с другой стороны несколько коек

стояли пустые, застланные суконными одеялами. Выздоравливающие и более легкие больные

стояли по разным углам, сидели группами на кроватях или ходили взад и вперед по комнате,

одетые в серые халаты, точь-в-точь как арестантские.

Лукьян разом все припомнил: и допрос, и дикую расправу, и долгие дни мучительной

агонии в черной смрадной дыре. Это было так ужасно и представлялось его воображению так

ярко, что он весь задрожал.

Серые фигуры мелькали перед его глазами; некоторые, проходя мимо, оборачивались на

него. Его поразил специфический запах лекарств. Но ему не приходило и в голову, что он мог

очутиться вне тюрьмы.

"Перевели, должно быть, в общую камеру", – подумал он про себя.

К нему подошел фельдшер.

– Что, очнулся? Ну как? – спросил он.

– Ничего, – отвечал Лукьян. – Где это я? В общей уголовной?

– В городской больнице, не в тюрьме. Не сумлевайся, – успокаивал его фельдшер. – Без задних ног не убежишь и без решеток. А в случае чего есть кому и присмотреть, – продолжал он в том же шутливом тоне, указывая головою на полицейского служителя, лежавшего с ним рядом в брюшном тифе.

– Ну, что нога? Болит? – спросил он после небольшой паузы.

– Нет, кажись ничего, – ответил больной. Фельдшер неодобрительно покачал головою и стал трогать пальцем больное место.

– Не болит?

– Не болит, – отвечал Лукьян.

Фельдшер опять покачал головою и отошел к другим больным.

Вскоре пришел доктор. Он долго стоял у постели Лукьяна, осматривал, тыкал пальцем и тоже качал головою.

Вся палата, то есть те, кто были на ногах, с любопытством следили за всяким его движением и выражением лица. Когда он ушел, один из больных обратился к фельдшеру.

– Кромсать будете, что ли? – спросил он.

– Надо полагать, что будем, милый человек, – отвечал фельдшер.

– Ох, не любим мы этого, – поморщившись, сказал "милый человек". – Потом целую неделю еда в рот не идет, как насмотришься это, как вы живого человека кромсаете.

По бедности помещения при больнице не было операционной комнаты, так что самые тяжелые операции производились в камерах же, на глазах больных.

– Добро бы еще свой брат, христианин, – сердито проговорил рыжий рыбник, которому вырезали недавно шишку на шее. – А то терпи из-за бусурмана. И как это его с христианами вместе положили?

– А чем же он тебя хуже, дядя, что ты так на него взъелся? – спросил "милый человек".

– Чем хуже? – обиделся рыбник. – Штундарь ведь он, сказывают. От Христа отрекся. Вот хоть Семеныча спроси, – обратился он к фельдшеру.

Семенычу не удалось принять участия в теологическом разговоре, потому что его отозвали к доктору. Вернувшись, он успокоил палату, сообщивши, что оперировать новоприбывшего не будут.

– Что так?

– Да плох совсем. Лихорадка, да и ослаб. Все равно не выживет. Так чего же напрасно беспокойство делать?

Все это говорилось громко и откровенно, с мужицким презрением к смерти, которую всякий встречает запросто, ожидая того же и от других.

Лукьян слышал, хотя и смутно. В ушах у него шумело, и всё – слова, люди, предметы – смешивались в его мозгу в какую-то хаотическую массу.

Одно он ясно понял: что час его настал.

"В руце твоя предаю дух мой", – набожно прошептал он. – "Скоренько пришло!", – мелькнуло у него в голове грустное восклицание.

Ему не жаль было жизни, а жаль было своего дела. Жаль покидать его в самом начале, когда еще так мало сделано и некому поручить свою работу.

"А Павел?" – подсказал он сам себе.

Вдруг ему показалось, что палата как-то расширилась, и тот, о ком он думал, стоит перед его глазами и смотрит на него любящим, тревожным взглядом.

В том торжественном настроении, в каком он находился, первой его мыслью было, что это посланное ему Богом видение. Но Павел был не один. Его сопровождал молодой человек в синем пиджаке, с серою пуховою шляпою в руке, который решительно не походил на ангела-путеводителя.

Смущенный его молчанием, Павел подошел между тем к самой его постели.

– Это я, – проговорил он. – Узнаешь?

– Узнаю, – слабым голосом проговорил больной. – Я думал о тебе как раз перед твоим

приходом, и мнилось мне, что это видение мне свыше. А кто это с тобой?

– Валериан Николаевич, – ответил Павел. – Проведать тебя пришел.

– Доброе дело. Приди вы днем, двумя позже, меня уже не застали бы в живых.

– Что ты, Бог с тобой! – вскричал Павел.

– Правда, – повторил Лукьян спокойно, точно не о нем шла речь.

Валериан подошел к больному, осмотрел его внимательно, как врач.

Павел следил за ним взглядом, полным тоски.

– Не огорчайся, брат, и не жди, – проговорил Лукьян. – Я сам знаю, что мой час настал.

Правда? – обратился он к Валериану.

– Правда, – отвечал Валериан.

Он понимал, что обычный утешительный обман тут неуместен.

Лукьян помолчал с минуту, точно собираясь с мыслями.

– Передаю тебе мое служение, – сказал он, останавливаясь долгим взглядом на Павле.

Он хотел протянуть ему руку, но не имел сил, и она беспомощно упала на постель.

Пораженные необыкновенной сценой, больные, кто стоял на ногах, столпились вокруг

постели Лукьяна. Рыжий рыбник стоял впереди и, выпучив глаза, глядел.

Припав к изголовью постели, Павел плакал, как ребенок…

– Жатва велика и обильна, – повторил Лукьян свое любимое изречение, – а делателей мало.

Надлежит всем, кому то дано от Бога, трудиться непокладно, пока Бог веку продлит. Мой путь

пройден. Теперь твой черед, брат Павел.

Павел покачал головою.

– Мне ль, мне ль заменить тебя? – мог он только проговорить.

– Никто не может, брат, ему же не будет дано свыше, – сказал Лукьян. – Дух Божий тебя

умудрит и вдохновит. Будь лишь чист сердцем и верь.

Павел поднял голову и вытер глаза.

– Прости мне, брат, мои сомнения, – сказал он. – Мне страшно брать

на себя крест не по

силам.

Глаза больного зажглись от какого-то внутреннего огня. Лицо его оживилось и утратило

болезненное выражение.

– Не смущайся, – сказал он. – Ты поднимешь этот крест и понесешь его во славу Божию.

Мой час близок, и мнится мне, что мрак грядущего раздвинулся передо мной. Я вижу твой путь,

усеянный терниями, и вижу твой конец. Ты сподобишься умереть, как и я, за веру, замученный

от рук идолопоклонников.

Голос Лукьяна стал тверд и звучен. В лице и во всей фигуре было что-то торжественное и

пророческое.

Павел упал на колени, и Лукьян положил ему на голову руку, которая на этот раз была так

же тверда, как и его голос.

Это было торжественное посвящение, которое молодой штундист принимал с умилением и

радостью.

– А теперь прощай! – сказал Лукьян. – Оставь меня одного. Я хочу помолиться за себя и за

всех.

Он обвел глазами толпу, теснившуюся у его постели.

Павел поцеловал его руку и встал. В палате произошло неописанное волнение. Одни

бросились целовать руку Лукьяна. Другие прикасались к его постели. Третьи обнимали Павла.

Валериан стоял в стороне и с грустью смотрел на эту сцену. Он был тоже потрясен, но

иначе: эта сцена казалась ему взрывом дикого фанатизма, бессмысленной тратой духовной

энергии, которая могла бы пойти на что-нибудь лучшее.

Со вздохом он ушел из комнаты.

В ту же ночь Лукьяна не стало.

Павел зашел на другой день в больницу, но ему сказали, что Лукьян уже в мертвецкой.

Фельдшер согласился проводить его к телу. Там он лежал на голом

сосновом столе, рядом с

каким-то другим трупом, и миром и вечным спокойствием веяло от его холодного чела.

Его похоронили в ту же ночь, тайком, так как молва о нем уже начала распространяться по

городу, и начальство как духовное, так и светское, не желало дать повода его единоверцам и

любопытным собраться на похороны.

Глава XVII

Павел закладывал лошадь, собираясь в обратный путь, когда к нему прибежал Морковин, испуганный и без шапки, и сказал, что его желают видеть два каких-то барина и что один из них выглядит чиновником.

Павел оставил телегу и пошел в горницу, где его ждал Валериан с каким-то незнакомым господином, который оказался приятелем Валериана, Трофимычем – письмоводителем мирового судьи.

– Мы к вам вот зачем, – начал Валериан. – Мы думаем начать дело об убийстве Лукьяна, и я пришел спросить, что вы на это скажете.

– Что ж, начинайте. Я готов, – сказал Павел. – Как вы думаете? – обратился он к Морковину.

Тот замахал руками.

– Ничего не выйдет. Только себе беды наделаете,- сказал он.

– Вздор! – отвечал Валериан. – Во всяком случае, такого вопиющего дела так оставить невозможно.

– Да что же вы против них поделаете, – Морковин стоял на своем. – Все это одна шайка. Вы подадите жалобу прокурору, а так как это дело по духовному ведомству, он отошлет его в консисторию, тому же Паисию. Говорю вам: ворон ворону глаза не выклюет. Только вам же достанется.

– Это мы еще посмотрим! – воскликнул Валериан.

Его мнение превозмогло. Вдвоем с Павлом он набросал черновую прошения прокурору, в котором излагались факты дела и требовалось его расследование.

Трофимыч взялся перебелить и "оформить" бумагу и прислать ее Валериану для подписи и дальнейшего движения.

Валериан приехал в город на перекладных. Он охотно принял предложение молодого
штундиста подвезти его до усадьбы.
Они выехали в тот же день после обеда. День был ясный и солнечный. Жара только что
спала. С лугов поднимался белый дымок и, гонимый чуть заметным ветром, скользил по земле,
и тогда казалось, что узкие прозрачные паруса несутся по зеленым волнам. Дальняя роща
окутывалась свинцовой синевою и уже тонула в голубом пространстве, сливаясь с горизонтом.
Пыль улеглась. Павел распустил вожжи, предоставив лошади полную волю. Ему очень хотелось
поговорить со своим спутником по душе. Глухое подозрительное чувство, которое возбуждал в
нем этот "безбожник", сменилось за последние дни живой симпатией. Хотя Валериан ни разу не
заговаривал с ним о вере, Павел был убежден теперь, что он не может быть безбожником. У
ученых могут быть свои "слова", но он не сомневался, что Валериан верит по-своему, по-
ученому, и в душе сочувствует штундистам. Иначе – из-за чего бы ему принимать такое горячее
участие в их судьбе?
Павлу захотелось поделиться со своим спутником теми вестями, которые хоть несколько
утишали его скорбь по убитом учителе и друге. Он стал рассказывать ему о том, что видел и
слышал у своих единоверцев за последние дни: о новых обращениях, о растущем одушевлении
среди братьев и внимании среди православных.
– Даже в храмины идолопоклонников, в среду их прислужников проникает правда Божия,
как во дни царей римских, – закончил Павел.
– В самом деле? – с любопытством спросил Валериан.
Павел рассказал ему про одного из тюремных сторожей и про некоторых из старых

приятелей Морковина.

Валериан слушал внимательно, по-видимому с участием. Это еще более укрепило Павла в его наивном предположении и придало ему смелости заговорить прямо.

– А что я вас хочу спросить, Валериан Николаевич, – начал он, смотря в сторону. – Вы не осердитесь на меня: я это по простоте.

– Говорите, пожалуйста! Чего ж мне сердиться? – Валериан ободрил его.

– Как вы насчет веры понимаете, Валериан Николаевич? – проговорил Павел, оборачивая к нему свое честное, серьезное лицо. – Я знаю, что про вас всякую всячину болтают, да я не верю этому, как вот повидал вас ближе. Такой вы до простого народа добрый и жалостливый. Всякому в нужде вы помочь готовы. И вот из-за Лукьяна нашего вы даже на неприятности идете. Так как же, чтоб вы, пещась о телесных нуждах братии ваших по Христу, о душах их не брегли?

– Да разве я не брегу? – с улыбкой возразил Валериан. – Чуть мне мало-мальски умственный мужик или парень попадется – я ему сейчас книгу, другую в руки. Видали, может?

– Как же, видал, – отвечал Павел.- О хлебопашестве, да об уходе за скотом, о звездах там небесных и гееннах всяких, либо историю о старинных временах.

– Есть и другие, которых вам не показывали, – засмеялся Валериан. – Да чем же вам и те не нравятся: это все пища для ума, то есть для души.

– Конечно. Да ведь это все суета, – сказал Павел с откровенностью искреннего убеждения.

– Какая польза человеку и про звезды, и про зверей, и про людей разных знать, когда он не познал Бога, все это сотворившего и живущего в его собственной душе? Вот это вы ему откройте, и он вам спасибо скажет.

– О да, и еще как. Мало того: всяким добром засыпет. Попы это раньше нас с вами познали,

– проговорил Валериан.

Он не желал вступать в богословский спор и думал отделаться шуткой.

– Что о попах говорить, – сказал Павел серьезно. – Известно, что они только и думают, как

бы содрать с живого и с мертвого, а в Евангелии прямо сказано: что даром получили, то даром и

давайте, и ищущему у тебя рубашку отдай и кафтан.

Он заговорил о своей вере не как начетчик, а как простой мужик-общинник, которого

чистое евангельское учение поразило своей общественной стороной как религия братской

любви. Павел был сильно взволнован. Слова, когда-то сказанные ему матерью о том, что ему

следовало бы попробовать обратить молодого барчука, теперь мелькнули в его уме как наитие

свыше. В его воображении носился образ Лукьяна, и он искренне верил в эту минуту, что, как в

библейские времена, дух Лукьяна хоть частью перешел и на него.

Валериан невольно заслушался. Никогда не доводилось ему слышать такой речи от

простого крестьянина.

Павел, объяснивший это внимание по-своему, переходил между тем к богословию и

наступал на него с текстами и цитатами.

– Все, что вы до сих пор говорили насчет любви и братства, – правильно и хорошо. Этого

все хорошие люди хотят. Но к чему вы в это путаете все эти тексты да цитаты, всю эту

поповщину?

Павел вопросительно посмотрел на него, не понимая, как это одно без другого мыслимо.

– Ведь и церковники, как вы их называете, гонят и преследуют вас во имя того же Христа и

во имя того же Писания, – пояснил свою мысль Валериан. – Текст ведь какой угодно подобрать

можно.

Молодой штундист слушал эти речи с некоторым удивлением.

– Но ведь это не христиане гонения воздвигают, а идолослужители, прикрывавясь именем

Христовым, – возразил он.
Валериан равнодушно кивнул головой.
– Так, так! А водворись ваша вера на место православия, поднимутся новые ревнители о
вере и учителя, которые вас станут звать идолопоклонниками и слугами мамоны, а вы их –
еретиками. И будете вы их гнать и стирать с лица земли для вящей славы Божией. Да и
церковникам достанется от вас, чтоб поскорей лезли в рай, – прибавил он с усмешкой.
Павел немного опешил. Об этой стороне дела он никогда не думал, и слова Валериана на
минуту выбили его из колеи. Но он вскоре оправился.
– Нет, – сказал он. – Поднимающий меч от меча и погибнет. Христос не велел никого
преследовать. Это все попы выдумали из корысти и злобы.
– Ну вот, и у вас попы выдумают, – заметил Валериан вполголоса, как бы про себя.
– Какие же у нас попы? – возразил Павел. – У нас нет попов. Лукьян разве поп был?
– О нет, – поспешно сказал Валериан. – Лукьян не был попом, и вы попом не будете. Вы
пока апостолы. Но ведь и православную-то церковь основали не попы, а апостолы. Так уж это
испокон века велось. Апостолы посеют, Петры да Павлы, Луки да Лукьяны. А потом приходят
отцы Василии да Паисии пожинать плоды. Таков уж, видно, предел людям положен, и ничего
против этого не поделаешь, – сказал Валериан, чтобы закончить разговор.
Но ни этих недомолвок, ни этого сдержанного тона душа его молодого спутника не могла
выдержать.
– Ну, так что же, по-вашему? – вскричал он. Валериан не тотчас ответил. Он колебался. Ему
жаль было разбивать стройное миросозерцание и нарушать душевный мир этого хорошего,
симпатичного парня. Но жаль ему было оставить такого способного и

обещающего человека
топтаться в том, что он считал бесплодной поповщиной. Ломка не всегда значит разрушение. Из
разбросанных кирпичей может выстроиться новое, более прочное и лучшее здание. У Валериана
была своя "вера", и желание "совратить" в нее своего спутника взяло верх.
– По-моему,- сказал он,- самое лучшее – это похерить все это разом.
– Что – все? – спросил Павел строго.
– Да все вот это.
Он хлопнул рукою по сумке книг, которую Павел всегда возил с собою.
Павел посмотрел на него с видом скорее сострадания, чем укоризны.
– Переложатся небо и земля, – сказал он, – а не переложится единое из слов Божиих. Все
тут разрешено. Все предусмотрено и предугадано от древнейших времен и даже до днесь. Не
поверите, – с добродушной наивностью обратился он к Валериану, – иногда диву даешься.
Случится что-нибудь: думаешь – что! – а смотришь, об этом пророк духом провидел, и есть об
этом где-нибудь в Писании. Поискать только да понять нужно.
Валериан улыбнулся:
– Этак много пророчеств найти можно, где угодно.
– Есть и прямые пророчества, ясные.
– Да вот, как Лукьянове на ваш счет. Помните, он предсказал ведь вам, что вы тоже умрете
от рук гонителей. Это очень возможно и вероятно. Я бы мог предсказать вам то же, если б вы
спросили. И если это сбудется, то разве я от этого пророком буду?
Валериан говорил так просто и с таким убеждением, что Павел немного поддался.
– Я – что! – сказал он. – Разве я могу ждать о себе пророчеств. О другом было и
исполнилось.
– А больше было так, что сначала исполнилось, а потом напророчествовано, – сказал
Валериан с улыбкой.
– Как же это может быть? – удивился Павел. – Ведь апостолы…

– А почем вы знаете, что апостолы писали то, что им приписано?

Удивление и любопытство Павла росли с каждой минутой.

– Как так? – спросил он. – Не понимаю.

– Дайте-ка мне евангелие, – сказал Валериан.- Я вам что-то покажу.

Павел развязал мешок и с улыбкой подал ему евангелие.

Они давно уже ехали шагом: умный коник, по-видимому, заслушался богословского диспута и сообразил, что в такое время покойнее плестись потише.

Валериан читал когда-то Штрауса и помнил некоторые из убийственных сопоставлений, которыми немецкий экзегетик колеблет историческую подлинность евангельского повествования. В свое время, читая книгу, Валериан проверял цитаты и теперь знал, где искать нужные места.

– Ну вот, смотрите, – сказал он, указывая на повесть о немоте Захария, отца Иоанна Крестителя. – Тут говорится, что, онемев, Захария продолжал служение во храме. Ну хорошо. А нет ли у вас Ветхого Завета?

У Павла в сумке оказался славянский экземпляр Ветхого Завета.

– А теперь смотрите, – сказал Валериан, открывая то место Второзакония, где говорится, что ни один левит, имеющий телесный недостаток, не может служить в храме Иеговы.

– Ну так что же? – спросил Павел, не догадываясь, к чему Валериан клонит речь.

– Как что! – воскликнул Валериан. – Если левит не мог служить с телесным недостатком, значит Захария не мог продолжать служения во храме. Значит, то, что об этом написано, выдумано кем-нибудь, кто не знал даже еврейского закона.

– Вишь ты! – воскликнул Павел, пораженный сопоставлением, как каким-то удивительно неожиданным и ловким фокусом.

Он знал на память первое место из указанных Валерианом и читал несколько раз второе.

Теперь его удивляло, как это он мог ничего не заметить. Он упрекал себя в невнимании и очень

огорчался этим, так как был уверен, что, заметь он противоречие раньше, он нашел бы ему

объяснение и не дал бы этому безбожнику даже временного торжества.

– А это как, по-вашему? – продолжал Валериан. – Вот две родословные того же Христа, и

обе с середины совершенно разные. Которая-нибудь да не подлинная, коли не обе. А вот видите

ли это евангелие?

Он отделил евангелие от Иоанна и держал его между пальцами.

– Вы ведь знакомы с ним? Павел молча кивнул головою.

Он зачитывался им и знал его на память. Оно было его любимое.

– Ну так могу вам сказать, – продолжал Валериан, – что ученые люди теперь признают его

неподлинным от начала до конца – не Иоанновым, значит.

– Как не Иоанновым? – вскричал Павел. – Чье же оно? Матвеево, что ли?

– Чье оно – неизвестно, – отвечал Валериан. – Но несомненно, что, оно составлено чуть ли

не лет сто после смерти апостола и что он так же мало прикосновенен к его Писанию, как и мы

с вами. Хотите, объясню почему.

– Не нужно, – сказал Павел таким тоном, что Валериан пожалел, что зашел сразу так

далеко.

Он захотел загладить свою ошибку и, бросив богословие, – то, что он называл поповщиной,

– заговорил о той общественной стороне евангельского учения, на которой они сходились с

Павлом.

Но Павел его уже не слушал. Понемногу в нем поднималось против спутника чувство

злобы, переходившее в глухую жгучую ненависть. Валериановы доводы не произвели на него

никакого впечатления; так по крайней мере он думал в эту минуту. Но ему неприятно было их

слушать, еще неприятнее не знать, что на них возразить.

И злоба закипала у него, и Валериан представлялся ему человеком, который для своей

забавы издевается над самыми святыми вещами, злоупотребляя дарами духа – умом и наукою, –

грех, который, по Писанию, не простится ни в сей век, ни в будущий.

Павел угрюмо молчал или отвечал сухо, односложно.

Валериан вскоре заметил резкую перемену в своем спутнике, и ему стало досадно на себя,

зачем он так с ним увлекся, зачем причислил его только что к породе апостолов.

"Поповская душонка, не способная ничего понимать вне своего узкого догмата", – думал

он.

Ему противно было самое его общество.

– Остановитесь, пожалуйста, – сказал он, когда они проезжали мимо одного поселка. – Мне

здесь к одному знакомому мужику зайти нужно. Я уж сам потом до дому доберусь.

Павел не предложил ему подождать его.

Валериан соскочил с повозки и, напевая какую-то бодрую песенку, быстро зашагал по

жнитву прямиками, направляясь к небольшой, довольно бедной избе, стоявшей несколько

поодаль.

Павел подобрал вожжи, ударил кнутом коня и покатил крупной рысью.

Глава XVIII

Ульяна очень обрадовалась сыну. Она не ожидала его так скоро и все время тревожилась,

как бы с ним самим чего не случилось: его могли ни за что ни про что схватить, как штундиста,

Лукьянова помощника и близкого ему человека, и засадить на неопределенное время в острог.

Она даже ловила себя на недоброжелательных чувствах к Лукьяну, когда представляла себе, что

попался ее сын. Увидавши Павла целым и невредимым, она почувствовала двойное участие к

судьбе их общего учителя.

– Ну, что он? – воскликнула она, устремляя на сына тревожный взгляд.

Павел махнул рукой.

– Ох, горе, горе нам всем, – сказал он. – Помер Лукьян-то наш мученической смертью.

Ульяна как стояла, так и залилась слезами.

"Господи, а я-то, а я-то!…" – вспоминала она.

Павел стал тихо рассказывать, как все это случилось. Он рассказал, как видел его почти

перед смертью и как Лукьян попрощался с ним и отошел мирно, подобно святым, про которых

пишут в книжках. Но он не повторил последнего трогательного предсказания учителя. Ему

стало совестно, и к тому же – зачем пугать мать?

"Может, ничего этого и не будет и он это так сбрендил", – шепнул ему в ухо какой-то

лукавый голос, от которого Павел вздрогнул и оборвал речь на полуслове: ему казалось, что это

кто-то другой, нечистый, говорит в нем.

– Что с тобой? – спросила мать, поднимая голову.

– Так, ничего, – отвечал Павел.

Но он не продолжал более рассказа.

– От Федоровны, ключницы, я слыхала, что молодой барин поехал в город хлопотать за

Лукьяна. Очень меня это утешило, – сказала Ульяна.

– Да, я встретился с ним, – неохотно проговорил Павел. – Он помог мне с Лукьяном
повидаться.
– Дай ему Бог всего за это, – набожно проговорила _ Ульяна.
Павел угрюмо молчал.
Мать успела оправиться и стала снова спрашивать его о Лукьяне. Слушая его, она
несколько раз утирала слезу.
– Да, – с горечью закончил Павел. – Остались мы все, как стадо без пастыря.
– Бог не оставит, – сказала она сдержанно. "Павлу быть выбрану, потому – после Лукьяна
он первый", – мелькнуло у нее в голове.
Видеть сына во главе своей общины и затем всего союза было мечтой ее жизни, перед
которой смолкал даже материнский страх за его безопасность. Несмотря на искреннюю печаль
по Лукьяне, ее материнское честолюбие зашевелилось в ней вместе с опасением, как бы Павел
по своей скромности не испортил собственного дела.
Она заговорила сама о трудном времени, которое предстоит пережить их общине, о
возможности гонений.
– Попы нас теперь не оставят, раз напали на след,- сказала она. – Убивши пастыря, захотят
рассеять и стадо. Нужно нам стоять крепко и блюсти и пещись, чтобы у нас было кому постоять
за правую веру и делом и словом; чтобы был такой, кто искушен в Писании и тверд и мог бы
других укрепить и козни и прелести вражьи разгадать и обнаружить. Тебя теперь выберут, –
сказала она, – так будь готов. Ты один можешь заместить Лукьяна и приять его служение.
Она сказала это совершенно просто, как вещь, которая сама собой разумеется. Но Павла эти

слова почему-то взорвали.
– Матушка, – вскричал он, – если вы мне это еще раз скажете, я уйду из дому – и только вы

меня и видели!

– Что с тобой, голубчик? – удивилась мать. – Чем я тебя огорчила?

– Еще не остыло тело его во гробе, а мы уже тянемся: кто будет первый между нами?

– Да разве я что? – оправдывалась Ульяна. – Я только говорю тебе то, что завтра все скажут.

– Матушка!

– Ну не буду, не буду. Бог с тобой.

После ужина Ульяна не пошла оповещать братию, как собиралась, решивши, что успеется

завтра: скверные вести на замок запирай, а хорошие за дверь посылай. Она видела, что сыну не

по себе, что с ним что-то неладное, и ей хотелось остаться дома.

Павел ушел в свою светелку, служившую вместе и молельней, и зажег маленькую

керосиновую лампочку, которая осветила небольшой стол, скамейку и полку книг в темных

переплетах – его сокровище, источник утешения в скорби и бодрости в испытании.

Он вспомнил предерзостные слова Валериана относительно одного из Евангелий и нарочно

открыл именно это.

"Был болен некий Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее…", –

начал он.

Сколько раз перечитывал он этот рассказ, умиляясь и торжествуя. Он набожно углубился в

него сегодня.

"А что если это все неправда и это все кем-то после написано?" – шепнул ему какой-то

жидкий, противный голос.

– С нами крестная сила! – в ужасе прошептал Павел.

Он осмотрелся: его нисколько бы не удивило, если бы за его спиной оказалась рогатая,

черная, гримасничающая рожа самого сатаны.

Но в комнате никого не было, кроме черного кота, который сидел на столе, насупротив,

устремив свои зеленые внимательные глаза на своего хозяина.

Павел строго на него посмотрел, однако не прогнал: он был слишком

развит, чтобы верить

мужицким суевериям и заподозрить своего Ваську в сношениях с нечистым. Он снова принялся

за чтение. Но рассказ Писания утратил свою волшебную силу. Он уже не воображал себя в

Вифании у ног спасителя плачущим его слезами, умиляющимся его добротою и ликующим

вместе с верными учениками при его победе над смертью и безверием. Он читал слова, которые

скользили по его мозгу, не проникая ему в сердце.

"А что, если все это неправда?" – раздался, в его душе убийственный, леденящий вопрос –

на этот раз громко и внятно.

Яд сомнения был впущен в его сердце, и он не мог и не умел его вытравить. Он отодвинул

дрожащей рукой дотоле всемогущую книгу.

– Господи, что же это такое? – в ужасе воскликнул он.

В душе его все помутилось.

Слова Валериана, которые, ему казалось, он пропустил мимо ушей, не прошли для него

бесследно. Верил ли он им теперь больше, чем там, по дороге, – он не мог бы сказать. Он знал

только, что он не может, как тогда, отмахнуться от них. Они засели в его мозгу, они нарушили

гармонию его внутреннего мира, разбили его душевное спокойствие. Он умел только верить, и

он верил просто, по-детски каждой строчке Писания, как прямому слову Божию. Сомневаться в

их правдивости было для него так же невозможно, как усомниться в свете солнца, в твердости

земли. Теперь он испытывал весь ужас дикаря, видящего, как вдруг померк диск солнца, или

чувствующего, что под его ногами дрожит и трясется земля. Если можно усомниться в едином

слове Писания, то ничто после этого не прочно.

Голова шла у него кругом. Не знакомый с бурями сомнения, он оробел от первого их

приступа и впал в малодушие. Он считал свою веру погибшей

безвозвратно. Мысли, которые

прежде показались бы ему просто безумием, теперь назойливо лезли ему в голову, и он не умел

их прогнать. Они были до того дики, до того не похожи на его собственные всегдашние мысли,

что он ни на минуту не сомневался, что им овладел сатана; и он в отчаянии не видел, как

освободиться от его власти.

"Уж не сам ли диавол в образе молодого барчука ехал со мной дорогою?" – мелькнуло в его

раздраженном мозгу. Простой человек не мог так его испортить.

Холодный пот выступил у него на лбу.

– Господи, спаси и помилуй и отжени лукавого! – вскричал он, падая на колени и

простирая вверх руки.

В эту минуту за его спиной раздался раздирательный крик, похожий на плач ребенка.

Павел задрожал и обернулся: кот Васька, встревоженный его волнением, отчаянно

замяукал.

Павел с ожесточением швырнул в него полотенцем, которое первое попалось ему под руку,

и выгнал его вон. Ему показалось, что ему как-то полегчало. Он снова принялся за книгу.

Некоторое время все шло хорошо. Но вот ему попалось: "Сын Давидов", и тотчас же точно

какая-то пружина привела в движение его мысли и заставила их прыгать в мозгу, заскакивая и

забегая друг за друга.

"Сын Давидов! Но ведь только Иосиф был из племени Давидова, и он не был его сыном, –

при чем же тут царь Давид?"

Слова звучали такой насмешкой, что Павлу почудилось, будто кто-то тихо хохочет у него

над ухом. Это ядовитое замечание мог сделать только сам нечистый, потому что об этом

вопросе с Валерианом они не говорили.

Павел встал. Ему было душно; голова горела. В горле у него пересохло, как после долгого

пути по знойной дороге. Он пошел на кухню, чтобы выпить чего-нибудь.

Ульяна давно потушила огонь, но она не спала, прислушиваясь. Ей хотелось зайти к сыну,

но она боялась, как бы не помешать ему. Заслышав его шаги, она окликнула его:

– Павел, это ты? Не спится? Здоров ли ты, родной мой?

Спичка чиркнула в темноте. Ульяна зажгла каганец и, накинув платок на плечи, подошла к

нему.

– Что с тобой? На тебе лица нет! – воскликнула она с испугом.

Павел решил во всем признаться ей. Путаясь и перебивая самого себя, он стал рассказывать

о молодом барчуке, о том, как они встретились, как он зашел к Морковину и как они поехали

вместе; как они разговорились о Писании.

– Ну так что же? – спросила Ульяна, не понимая, что из этого могло выйти для Павла.

Павел хотел рассказать все, о чем они говорили по дороге. Но язык пристал у него к

гортани.

По тону голоса, по выражению лица матери он почувствовал, что она решительно ничего не

понимает. Ульяна не спускала с него глаз. Для нее было несомненно, что Павел заболел.

– Иди, голубчик, усни. Завтра пройдет.

Павел послушался и пошел спать. Но наваждение не прошло, а ушло вглубь.

Глава XIX

Братья собрались на торжественное и печальное моленье, чтобы почтить память своего

первого учителя и мученика. Собрались все, старые и малые. Когда Павел с матерью вошли в

комнату, там была уже толпа. Он хотел было сесть у входа, но толпа расступилась перед ними,

открыв дорогу до самого стола, за которым сидели чтецы. Пришлось пройти вперед и сесть с

ними рядом. Ему предложили читать и вести службу. Но он покачал отрицательно головой, и

его оставили: все понимали, что, как самый близкий друг покойника, он должен всех сильнее

чувствовать его потерю. Службу повел старик Кондратий, не красноречивый, но умный,

толковый человек, хорошо знакомый с Писанием.

Сперва пропели псалом; и потом Кондратий открыл Новый Завет и начал:

– "И слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме; и из

священников очень многие покорились вере".

В комнате воцарилась мертвая тишина. Под впечатлением только что полученного известия

евангельское повествование получило особое значение. Случаи были так похожи, что казалось,

будто дело идет не о Стефане-диаконе, а об их собственном учителе и первом мученике

Лукьяне. Гонители Иудеи – это были церковники; фарисеи и книжники – попы и чиновники,

которые, не в силах будучи одолеть их учителя словом, схватили и убили его в тюрьме.

Бабы начали всхлипывать. Наклонив голову над столом, Павел плакал тихими,

облегчающими слезами. Светлый и человеческий образ Лукьяна заслонил на минуту все его

сомнения и огорчения.

Кондратий продолжал между тем читать, ничего не пропуская. Длинная и скучная

историческая вставка в речь Стефана несколько успокоила собрание. Всхлипывания утихли.

Вздохи стали реже. Все слушали внимательно и терпеливо. Но вот трагическая развязка

приближается. Стефан кончил свою речь. Но это не Стефан – это об их Лукьяне пишет апостол.

Вот он грозно обличает своих судей в жестокости сердца, в противлении святому духу, в

избиении пророков, свидетельствовавших до него. И они уязвлены в самое сердце и скрежещут

на него зубами. У всех в воображении носится не еврейский синедрион в Иерусалиме, а русская

комната с зеленым столом и русскими чиновниками и попами, перед которыми стоит их брат и

учитель. Лица побледнели. Несколько человек вытирали дрожащей рукой выступивший на лбу

пот. Стоны и вздохи раздались снова. В тесно набитой комнате чувствовалось жгучее

напряжение, точно вся драма происходила перед глазами этой толпы. Неистовые судьи и

палачи, заткнув уши, бросаются с каменьями на исповедника.

Голос чтеца дрогнул.

– Убили, убили нашего родимого! – вскричала Анисья.

Раздались крики и плач. Сдержанное волнение вырвалось наружу. Кондратий смутился. Он

хотел избежать истерии, которой штундисты не любят на своих собраниях. Встав с своего

места, он начал что-то говорить. Но за общим шумом его голоса нельзя было расслышать. –

Песнь шестую, – сказал он своим соседям, открывая книжку гимнов. Он запел сам. Человека два

подхватили. Понемногу к ним присоединились несколько других. Пение размягчило собрание.

Волнение улеглось, и печаль утратила резкую шумливую форму. Вскоре пение стало стройным,

трогательным. Когда оно кончилось, все пришло в нормальное состояние.

Теперь надлежало говорить проповедь. Все глаза устремились на Павла. Он чувствовал, что

ему следует сказать слово в день моления за покойника. Но он не мог говорить. Тогда

Кондратий встал сам.

– Братья, – сказал он, – нашего учителя, что был нам отцом и братом, нет более в живых.

Другого такого нам не найти уже. Но не надлежит стаду оставаться без пастыря. Нужно нам

выбрать из себя заместителя ему. Мы уже говорили об этом с братьями, и мнится мне, что мы

единые в мыслях. Один есть между нами такой. Он млад годами, но Бог умудрил его духом

своим не по летам. Покойный учитель наш, царство ему небесное, его первым призвал. И ему

же довелось принять его последнее наставление и волю.

– Верно, Павла! Никого, как Павла, – проговорило несколько голосов в толпе.

Павел сделал движение. Но Кондрат еще не кончил.

– Кому дух внушает выбрать Павла, поднимите правую руку.

Все руки поднялись.

– Кому против?

Против выбора никого не было.

– Брат Павел, – сказал Кондратий, возвышая голос и обращаясь к нему прямо. – Тебя

выбирает братия, мир. Младший из нас, будь нам старшим братом и наставником. Пусть дух

Лукьяна перейдет на тебя, как дух Ильин на Елисея, и наставит тебя на всех путях твоих. Вот

книги. Вот причастная чаша. Вручает их тебе мир.

Он достал с полки деревянную простую чашу и поставил ее на стол.

Павел не смотрел на него. Он встал. Лицо его было бледно. Он предвидел возможность

выбора, но до последней минуты надеялся, что выберут Кондратия, который, хотя

присоединился к общине недавно, был старше его годами. В его теперешнем настроении выбор

братии был для него тяжелым испытанием. Все смотрели на него и

ждали. Теперь не говорить
было нельзя. Он сделал над собою усилие, стараясь собраться с мыслями. Но что скажет он?

– Братья, – проговорил он с трудом… Глаза его потухли, голос звучал как-то дико.

В собрании произошло некоторое смущение. В задних рядах некоторые поднялись, чтобы
посмотреть, в чем дело.

– Братья, – повторил Павел более твердым голосом, стараясь побороть свое волнение. –
Спасибо вам за всю вашу доброту. Жизни не пожалел бы я, чтобы отблагодарить вас. А выбора
вашего принять не могу. Выберите другого.

Голос его упал, и он прибавил:

– Не знаю, захотели ли бы вы иметь меня братом… Последние слова вырвались у него
невольно, как стон отчаяния. Их расслышали только Ульяна да Кондратий, которые были одна –
по правую, другой – по левую его руку. Собрание не слышало их, но и того, что Павел сказал
громко, было достаточно, чтобы произвести среди братии замешательство и недоумение. По
тому, как Павел произнес свой отказ, было ясно, что это не выражение обычной в этих случаях
скромности. Никто не решился его уговаривать, до такой степени было очевидно, что это было
бы некстати. Что же мог значить этот непонятный и решительный отказ? Братья стали
переглядываться и перешептываться.

– Как же быть? Кого выбрать?

– Братья, – сказал Кондратий, – отложим это дело. Бог просветит и научит нас всех.
Надумаемся мы, и Павел пусть подумает. Пути Господни неисповедимы, и он посылает на нас
всякие испытания.

Никто не возражал, и собрание молча разошлось.

Глава XX

Для Павла наступили самые тяжелые дни. Недоумение, вызванное его отказом, скоро

прошло. Начались пересуды и догадки, которые сперва были совершенно фантастические. Одни

говорили, что Павел открыл, что он нечаянно совершил преступление и оттого стал такой

унылый и отказался от старшинства. Другие утверждали за достоверное, что он зачитался

Писанием и, занесшись умом, замышляет основать какую-то новую веру. Потом догадки

переменились, и толки стали назойливее, получив некоторое фактическое основание.

Не будучи в состоянии справиться с мучившими его сомнениями, Павел пришел к

несчастной мысли обратиться к отцу Василию, как единственному ученому в вере человеку, от

которого он надеялся получить разъяснение. Утром, когда он знал, что отец Василий должен

быть дома, Павел зашел к нему с малым приношением, которое оставил на кухне. Отец Василий

удивился его приходу, однако принял его радушно и даже усадил на стул: он не был спесив и

держал себя просто. За это прихожане многое прощали ему.

– Ну, что тебе? – спросил он.

– Вот, батюшка, – начал Павел, – я хотел вас спросить насчет одной вещи. Встретился я с

одним человеком ученым, и он мне насчет Иоаннова Евангелия сказал, будто ученые люди

нашли, что оно не Иоанново и что много есть в Писании такого…

– Как? Что? – вскричал отец Василий, краснея от гнева. – Так ты вот куда! Ах ты

разбойник, безбожник! Вот ты куда гнешь…

– Да нет, батюшка, я тут ни при чем, – Павел старался его успокоить. – Я сам…

Но отец Василий не хотел ничего слышать.

– Пошел вон! Вон сию минуту, чтоб духу твоего здесь не было…

Он закашлялся и не мог говорить дольше. Все попытки Павла объяснить ему в чем дело

были безуспешны.

Отец Василий так его и прогнал, ничего ему не сказавши, и потом стал всюду ругать Павла

и штундистов за то, что они Писание отвергают и Бога не признают.

Между штундистами прошла весть, что Павел ходил к попу. Иные подозревали, не задумал

ли он вернуться к православию. Другие повторяли то же, что отец Василий: что Павел совсем от

веры отметается. Стали припоминать, что в городе Павел много путался с молодым барчуком,

открытым безбожником, и даже ехал с ним вместе обратно, и решили, что он от него-то и

заразился и впал в грех сомнения, который всего труднее извиняется сектантами.

Мало-помалу отношение к Павлу переменилось. Его стали чуждаться не только свои, но и

православные. Штундистская община была так возбуждена по поводу его, что и православные,

которые обыкновенно ничего не знали об их внутренних делах, стали догадываться, что у них

что-то неладно и что Павла его единоверцы почему-то чуждаются. И странно, хотя штундистов

в деревне не любили, однако тут православные приняли приговор штундистов на веру и тоже

стали сторониться от Павла и в свою очередь сочинять про него всякие небылицы.

Ульяна ревниво прислушивалась ко всем этим толкам и не могла удержаться, чтоб не

передавать их Павлу. Она негодовала на людскую глупость и непостоянство и втайне надеялась,

что, быть может, раздражение заставит Павла бросить то, что она считала его непонятной

"дурью". В последний год, если Лукьяну случалось когда отлучаться, Павел всегда исполнял за

него все обязанности старшего брата, и все, мать в особенности, так и смотрели на него, как на

его будущего заместителя. А теперь вдруг – на поди! Ни с того ни с сего он отказывается и из

первого человека в общине становится последним. Она жестоко мучилась, хотя перед сыном

старалась этого не показывать. Но Павел это видел и глухо страдал. С матерью о своих

сомнениях он не заговаривал, да и вообще почти ни о чем не говорил. Он весь ушел в себя, в ту

внутреннюю борьбу и ломку, из которой он не видел выхода. После жгучей боли и ужаса

первых дней на него нашла тупая апатия. Он стал как-то равнодушен ко всему и ко всем. Раз

при нем кто-то заговорил о Гале и Панасе: они должны были скоро венчаться, потому что

приближался великий пост, когда православных не венчают.

Павел выслушал это известие совершенно безучастно: даже ухом не повел, точно никогда в

жизни не думал о Гале. Сердце его застыло и закаменело и, казалось, утратило способность

трепетать от радости и сжиматься от горя.

На моленья он продолжал ходить, но сидел в стороне и никакого участия ни в чтении, ни в

собеседовании не принимал. Службу обыкновенно вел Кондратий, а когда его не было – кто-

нибудь из других старших братьев. Старики, руководители общины, держались тверже толпы.

Они помнили Лукьяна и надежды, которые он возлагал на своего молодого ученика, и стояли

твердо против враждебного течения. Нужно было дать парню подумать, собраться с духом:

лукавый силен и всякие проделывает с человеком вещи. Они-то и удерживали общину от

окончательного выбора наследника Лукьяну. Между ними было решено ждать до великого

поста.

Раз – дело было в субботу – Павел возвращался с моленья домой. Матери с ним не было.

Она перестала ходить в последнее время на собрания, отговариваясь то

работой, то нездоровьем.

Подходя к опушке леса, Павел заметил шагах в двадцати от дороги на срубленном пне

темную женскую фигуру. Он не узнал Гали и безучастно хотел пройти мимо. Он не узнал ее

даже по фигуре и по походке, когда она встала и пошла к нему навстречу.

– Павел, – окликнула она его, – здравствуй! Павел вздрогнул и вскинул на нее удивленными

глазами.

– Галя! Ты как здесь?

– Я тебя ждала, – ответила она, потупившись. – На деревне про тебя говорят кто одно, кто

другое, так я хотела тебя спросить.

– О чем? – проговорил Павел угрюмо. Галя не сразу собралась, как ему ответить.

– Ну что же, скажи, как тебе меня ругают,- проговорил он. – Может, и ты…

– Ах, что ты говоришь! – сказала Галя печально. – За что мне? А сказывали мне, что будто

ты от своих отбился, к нашим, значит, переходишь. Я вот и ждала тебя… Думаю, придешь. А ты

не приходишь… Вот я и сама… – сказала она с укоризной.

– Вот ты к чему? – сказал Павел. – Нет. Может, я и точно от своего берега отобьюсь. Да к

вашему меня не прибьет, нет…

Галя смотрела на него удивленными глазами. Ей хотелось спросить его, зачем же он

отбивается от своих зря, раз он не хочет пристать к православию. Но она не спросила. Тонкое

чувство любящей женщины говорило ей, что тут должно быть что-то глубокое и печальное, чего

она не понимает. Иначе отчего бы он был всегда такой грустный: она видала его изредка на

улице.

– Расскажи мне все! – сказала она с молодым порывом, взявши его за руку. – Я, может,

пойму. Отчего ты такой грустный ходишь?

– Не поймешь, голубка, – ласково отвечал Павел.

– Пойму! Ну, попробуй, – приставала она.

Они стояли под роскошным ветвистым дубом, который, как сводом, закрывал их своими

широкими ветвями. Вечерний ветер играл его темной крепкой зеленью, которая звонко

шелестела в ответ на всякое движение воздуха.

– Видишь этот дуб? – сказал Павел. – Что, если бы в одну ночь червь подточил его корень?

Дерево осталось бы стоять и зеленеть, и всякий, кто бы смотрел, сказал бы, что оно здоровое. А

оно уже умерло, и листья его попадают, и ветви посохнут, и ничем уж его не оживишь. Ну вот

это дерево я и есть. Мой корень – вера, а ее подточил червь. Поняла?

Она поняла его, но только совершенно по-своему.

– Бедненький! – сказала она. – Только чего тебе сохнуть? Я тебя теперь еще больше люблю!

Она неожиданно обвила его шею руками, и он почувствовал на своей щеке ее горячее

дыхание.

Для нее не существовало самого понятия о чем-нибудь вроде сомнений и охлаждений в

вере вообще. Слова Павла она поняла как подтверждение слухов, что он охладел к штунде.

– Я сегодня во всем отцу призналась, – продолжала Галя шепотом, – что люблю тебя, что

без тебя мне жизнь не в жизнь, что хоть камень на шею, хоть за Панаса – все одно. Он ругался,

чуть не побил, а потом ему жалко меня стало. Теперь я ему скажу… А то ты лучше сам к нему

зайди. Он добрый, даром что на вид такой сердитый.

Павел не прерывал ее. Ему невыразимо сладки были эти ласки и эта нежность.

– Ясонька моя, так ты меня еще любишь? Я думал, что уж все меня забыли. Не цураешься?

– Чего пытаешь, дурень? – проговорила Галя, нежно прижимаясь к нему.

– Так бросим мы все и поедем в чужедальнюю сторонку, где нас никто не знает, никто

пытать не станет. Повенчаемся с тобой, как нам вздумается, и будем мы жить так, что ангелы на
небе на нас любоваться станут.
– Да нам разве и тут худо будет? Отец меня благословит и еще какое приданое даст, –
сказала она весело.
– Нет, Галечка родная,- сказал Павел.- Не говори ты ему ничего. А лучше на заре, раненько,
пока еще люди спать будут, оденься ты и выйди вот на это самое место. Я буду уж ждать тебя
тут с повозкой. Ничего ты с собой не бери. Уж у меня все для тебя будет. И поедем мы с тобой в
степи черноморские, и заживем мы там на вольной волюшке.
Галя с испугом отшатнулась от него.
– Что ты, Господь с тобой! – воскликнула она. – Да ведь отец проклянет и Бог накажет. Да
и что это ты выдумал? Ведь тато и так благословит. Я же тебе сказала. Что же нам умычкой
венчаться?
– Не благословит, Галя, – грустно сказал Павел.
– Как? Ведь ты же…
– Нет, не пойду я в православие. Не пойду к попу. Лукьяна нашего попы замучили, и мне к
ним перейти? Нет. Не бывать этому вовек.
– Да я-то чем виновата? – вскричала Галя. – Ведь не мы с татой его мучили. Так за что же…
Она опустилась на землю, и слезы брызнули у нее из глаз.
Все, на что она надеялась и что, ей казалось, она уже вот-вот получила, вдруг рассыпалось в
прах.
– Галя, Галечка! – шептал Павел, наклоняясь к ней. На дороге заскрипела телега, и раздался
топот лошадей. Галя встрепенулась и вскочила на ноги.
– Спрячься, – крикнула она Павлу, – чтобы нас вдвоем не застали.
Он торопливо скрылся в кусты.

Глава XXI

Когда телега проехала и стук колес перестал быть слышен, Павел вышел из своей засады.

Но Гали уже не было. Она убежала. Осмотревшись кругом, Павел заметил ее следы на высокой густой траве. Он пошел по ним. Нагонять ее он не думал, но ему сладко было идти по тому самому месту, по которому она только что прошла: ему казалось, точно они еще не совсем расстались. След был ясно виден на освещенной луной прогалине, но в темной чаще на жидкой траве разглядеть его было невозможно. Павел задумчиво шел по прежнему направлению. Он был грустен, но это была уже нежная, тихая грусть, ничего не имевшая общего с мрачной, угрюмой убитостью, с какой он входил в этот самый лес час тому назад. Встреча с Галей, прикосновение ее чистого, нежного чувства оживили и освежили его поблекшую душу, как теплый обильный летний дождь освежает выжженную солнцем поляну. Галя любила его за него самого, таким, каков он есть, просто, как Бог положил ей на душу. Никаких вопросов и сомнений для нее не существовало. И теперь он был этому рад. Он сам стал как-то проще, и утраченный мир душевный как-то сам собою спустился в его душу. Да, Лукьян был прав: Бог есть любовь; там, где есть любовь между людьми, там и Бог между ними. Все человеку от Бога идет. И не в книгах единых глаголет Бог душе человеческой, а во всем, от чего ликует и замирает сердце его.

Отдавшись своим мыслям, Павел давно перестал следить за дорогою и шел теперь густым лесом, машинально переступая через кочки и валежник, попадавшиеся ему на пути.

Испуганный им коростель спорхнул с ветки, заметался в полумраке и, взвившись на минуту над деревьями, грузно упал в кусты. Павел поднял голову. Сквозь темные кучи листвы видны были угловатые причудливые куски темно-синего неба. Из темной глубины леса яркие звезды казались еще ярче. Павел долго смотрел на них.

– Точно в Галины очи глядишь, – сказал он с умилением.

Он пошел дальше, заворачивая вправо, чтобы выйти снова на маковеевскую дорогу. Но он зашел слишком далеко вглубь, идя по предполагаемым следам Гали. Ему уже давно следовало увидеть разбитый молнией клен, от которого шла тропа на Маковеевку, а клена все не было, и кругом него был все один сплошной лес. Вдруг он увидел перед собой прогалину, которой здесь прежде не было. Лес был продан недавно на сруб, и прошлой зимой в этом месте начали работы.

Прогалина успела с весны, зарасти высоким мечевиком, среди которого поднимались кусты папоротника и лопуха и тихо шевелился своими тяжелыми головками колючий репейник.

Мелкая, как бисер, роса облегала мириадами капель каждый лист, и стебелек, и стволы, и ветки, и в них дробились лунные лучи, которые серебряными потоками лились сверху на лес, и на траву, и на полянку. Все цвета исчезли, точно растворившись в этом серебряном сиянии.

Зеленый, чуть заметно волновавшийся ковер травы и широкий лопух, бурые корявые стволы деревьев и их густая трепетная листва, обрубленные пни и сонный репейник – все это казалось изваянным и выкованным из чистого серебра, точно в сказочном серебряном царстве. К середине поляна поднималась плоским бугром, на котором еще лежало несколько звеньев сушившихся дров. Павел поднялся туда и остановился, осматриваясь кругом.

Кольцо высоких вершин скрывало от него всю окрестность. Не видно

было ни полей, ни

деревни, никаких признаков людского жилья. Он был один, совершенно один с этим глубоким

чистым небом, к которому он был точно приподнят в ладони гигантской руки. Все спало

кругом, и лес, и звери, и люди. Только недремлющие звезды мерцали, ласково смотря на него из

синей глубины. Что-то детское поднялось в груди Павла. В первый раз со дня его возвращения

из города тупое и холодное чувство подозрительности уступило место горячему порыву

доверия. Он поднял лицо к небу.

– Господи! – воскликнул он от полноты души. – Ты, сотворивший небо и усыпавший его

звездами и землю и насадивший ее растениями, научи меня, как познать тебя!

Он опустился на колени и, припав головою к срубу, стал молиться горячо, страстно, как в

первые дни своего обращения. Это была не молитва, а живое излияние, чистосердечная

исповедь перед живым лицом, и он не сомневался в эту минуту, что молитва его слушается, как

живая речь. Это убеждение росло по мере того, как продолжался этот страстный, порывистый,

бессвязный монолог. Он был в экстазе. Лицо его то горело, то покрывалось мертвой бледностью.

Обильный пот выступил на его лбу и по всему телу, точно он ворочал камни. Все страстнее,

пламеннее становились его слова. Он уже не довольствовался излияниями. Он прислушивался.

Его возбужденная душа жаждала ответов, знамения.

Ночь стала удивительно тиха. Как околдованный, стоял, купаясь в лунном свете,

серебряный лес. Не шелохнулась трава. Неподвижный воздух заметно свежел. Но вдруг Павлу

пахнуло в лицо занесенной откуда-то издалека струей теплого воздуха, пропитанного каким-то

возбуждающим странным запахом, какой бывает после молнии.

Мягкая теплая волна

скользнула на мгновение по его лицу, шевеля его волосы, точно прикосновение нежной руки, и

унеслась неведомо куда, как неведомо откуда принеслась.

Павел весь затрепетал. То, о чем он молил и на что не смел надеяться, вдруг осуществилось.

Глаза его наполнились светом. Душа замирала от неизъяснимого блаженства. В ушах

раздавались голоса, которые, он верил, обращены были к нему прямо с неба.

В неописанном волнении он простер руки вперед и замер, ожидая и прислушиваясь,

подавляя всякую собственную мысль, чтобы не спугнуть дивного мгновения.

– Вот оно, вот! Наконец! – шептал он, падая ниц и заливаясь благодарными слезами.

Все вдруг в нем просветлело и преобразилось. Сомнений как не бывало. Все стало ему ясно,

как день, и теперь он чувствовал, что отныне ничто не поколеблет его веры. – Что ему до всех

хитросплетений мудрых мира сего? Что ему до того, всякая ли буква Писания стоит там, где ей

надлежит? Дух божий живет в нем так же несомненно, как то, что он витает здесь, в этой

зеленой пустыне, и проник в его скорбную душу. В этом ему так же невозможно было отныне

усомниться, как в собственном существовании. Он был счастлив: испытав на минуту весь ужас

кораблекрушения, он был теперь снова у верной пристани. Ему хотелось идти к матери, к

своим. Он знал теперь, что сказать им. Но он чувствовал такую усталость, что ему трудно было

пошевельнуться.

Он решился отдохнуть несколько минут. Прислонившись к срубу, он стал прислушиваться

к голосам ночи, задумчиво смотря на лежащую перед ним полянку. Вот что-то хрустнуло в лесу.

В поле свистнул суслик. Из-под кустов осторожно выходил еж, нюхая острой мордочкой воздух:

не пахнет ли где добычей или опасностью. В какой-то лесной луже громко и нагло квакнула

лягушка. Ежик зашевелил щетиной и насторожил ушки, повернув свое маленькое свиное рыльце

в сторону звука.

В это время из-за темного купола высокого орешника выплывала на мягких крыльях сова и,

неслышно сделав полукруг в воздухе, точно косой подхватила зверька и понесла его прямо через

полянку, мимо сруба, к своему гнезду. Она пролетела так близко от Павла, что тому хотелось

протянуть руки и ударить ее ло лапкам, чтобы спасти бедного ежика. Но руки и все члены его

затяжелели. Он видел все очень ясно, но не мог пошевельнуться, точно на него была навалена

куча камней. Сова между тем не полетела в гнездо, а сделала круг и села на сруб, наискось, в

трех шагах от Павла. Протянув руку, он мог ее поймать. Птица его видела, но нисколько не.

смущалась его присутствием и спокойно чистила себе крылья носом. Ежика в когтях у нее уже

не было. Павел тоже смотрел на птицу и тут только заметил, что сова как-то очень похожа

лицом на отца Василия. Это, впрочем, его нисколько не удивило, а удивило его, как это он

раньше этого не заметил, тем более, что сзади у нее были не крылья, а коричневая ряса из

сырцового шелка, какую отец Василий надевал по праздникам, а на ногах были его козловые,

отороченные мехом сапоги без каблуков.

"Лучше убраться подобру-поздорову, – подумал про себя Павел, – потому отец Василий

что-то, кажется, сердитый сегодня".

Но уже отец Василий манил его рукою к себе.

– А поди-ка сюда, поди! – говорил он. – Так не подлинное, говоришь ты? Сам в апостолы

лезешь, так тебе и завидно на другого…

Павел встал и направился к нему, чтобы объяснить и успокоить, что

теперь это его уже не

смущает. Но по мере того как он подходил к отцу Василию, тот все точно от него уплывал,

продолжая манить рукой.

– Постой! – крикнул ему Павел.

Но поп не слушался и все точно уплывал куда-то в пространство. Он за ним. И вдруг исчез

и поп и лес, и Павел очутился в глубоком черном подземелье, под низкими каменными сводами.

На него повеяло холодом могилы, и он знал, что попал в могилу. Он весь дрожал от

пронизывающей сырости, проникавшей, казалось, до самых костей. Тяжелый, густой воздух был

недвижим. Ни звука, ни шороха не раздавалось в нем. Это было царство смерти. Павел стал

метаться из стороны в сторону, но куда бы он ни шел, всюду он натыкался на те же серые

холодные камни. Выхода не было. В изнеможении он сел на землю. Вдруг под самым его ухом

раздались слова:

– "Встань, возьми посох и ходи!"

Он тотчас узнал голос Гали. Но отчего это она говорит речью Писания?

Павел встал.

Перед ним точно стояла Галя, одетая богомолкой, с посохом в руке и длинными кожаными

четками. Лицо ее было строгое, суровое. Она даже не посмотрела на него и пошла вперед. Павел

покорно пошел за нею. Они шли долго, а между тем все как будто стояли на месте: подземелье

двигалось вместе с ними. Те же глухие стены спереди, сзади, со всех сторон обступали их

каменным кольцом.

– Что же это? – сказал Павел. – Мы все топчемся. Мы никогда не выйдем из этой могилы.

– Что ты? – отвечала ему Галя. – Разве ты не видишь, что мы уже пришли?

Павел поднял голову и увидел, что перед ним знакомая паперть их деревенской церкви.

– Зачем? – воскликнул он… – Ведь это церковь.

– Церковь. Я же тебе говорила, что хочу, чтоб ты пошел в церковь.

– Оставь! Не пойду я в этот вертеп, – с негодованием вскричал Павел. – Я хочу назад в склеп.

– "Где двое или трое соберутся во имя мое, там и я между ними", – проговорила Галя.

И опять Павел удивился, откуда это она знает Писание.

– Нет! – вскричал он, оправившись. – Дом отца нашего они обратили в дом торговый.

– Иди! – сказала Галя. – И что Бог освятил, того не оскверняй.

Павел рванулся от нее прочь – и проснулся.

Хохот и нестройное пение раздавались в сыром ночном воздухе: это возвращалась по дороге домой из трактира кучка мужиков, вспрыскивавших канун своего храмового праздника.

Павел поднялся, протирая глаза. Он уснул в лесу, и вся его одежда промокла от ночной росы. Он переждал, пока веселая компания пройдет, и пошел домой, думая о своем сне, который, он не сомневался в этом, был послан ему свыше.

Глава XXII

На другой день по деревне разнеслась весть, что из города приехал к храмовому празднику

отец Паисий и будет в церкви штундистов отчитывать. Старосте Савелию было приказано

согнать всех штундистов в церковь к обедне.

– Смотри у меня, всех! – строго наказывал Паисий. – У меня потворщикам спуску не будет.

Савелий почесал за ухом. Он знал, что штундисты не пойдут, – а как с хромым Ермилкой,

сотским, притащить их силой? Он созвал к себе на сход кое-кого из односельчан обсудить, как

им быть. Чтобы штундари как-нибудь не проведали, сходка происходила в волостной избе, а не

на открытом воздухе. На запрос Савелия никто ничего не ответил. Насупившись, мужики

молчали.

– Ах, чтобы им пусто было! – сказал наконец Карпий. – Покою от них нет добрым людям.

– Да уж что и говорить, – согласился Савелий. – Они у меня вот где сидят!

Он указал на шею.

– Да что им в зубы-то смотреть? Потащим силком, а то дубьем, поганых, коли что, – сказал

старик Шило.

– Да и впрямь, чего им, нехристям, в зубы смотреть, – сказало несколько голосов.

Настроение деревни по отношению к штундистам решительно переменилось за это время.

Советы Паисия принесли плоды, и отец Василий работал недаром.

– Валяй, ребята, сгонять всем миром штундарей. Так, целым миром, и погоним, – сказал

Кузька.

– Ну, чего всей оравой – скоро ли обойдешь! Чего попусту время тратить? Пойдем в два

конца. Одни с одного бока начинай, другие – с другого. К середине мы

и сгоним.

Предложение было одобрено. Толпа разделилась. Одни пошли на Лукьянов поселок.

Другие, под предводительством Панаса, двинулись на Павлов конец. Народ присоединялся к

ним по дороге. Панас шел впереди. Ему вспомнилась полуночная прогулка к той же избе,

кончившаяся таким постыдным отступлением, и в нем шевелилось чувство унижения и обиды,

которое заставила их всех испытать старуха Ульяна. Завидевши Павлову избу, толпа пошла

скорее, как солдаты, идущие на приступ. Ворота были открыты. Народ ввалился во двор.

Павел между тем сидел с матерью в светелке, где они заперлись с раннего утра.

Вернувшись на рассвете после своих ночных приключений, он застал мать спящей на скамье у

стола, положив руки под голову. Она ждала его всю ночь и заснула, побежденная дремотой.

Павел разбудил ее.

– Матушка, великую мне милость послал Господь. Порадуйтесь со мной.

Он рассказал ей в немногих словах про свое видение и про тот переворот, который в нем

произошел. Ульяна слушала, не будучи в состоянии всего взять в толк. Но она видела, что ее

Павел стал другим человеком, таким, как был прежде, и этого было с нее довольно.

– Ну, слава Богу! Наконец-то! Я знала, что так будет! – воскликнула она, обнимая его.

Она ушла спать, счастливая, как никогда не была.

Павел не ложился вовсе. При брезжущем свете утра он читал свои драгоценные книги,

наслаждаясь ими, как сокровищем, которое он было потерял и снова нашел.

Ульяна пришла к нему утром. Она заставила его рассказать себе во второй раз во всех

подробностях про удивительное видение, и они вдвоем принялись догадываться, каков может

быть его смысл.

Их тихие речи прервал шум приближающейся толпы.

– Что это? – сказала Ульяна, прислушиваясь. – Какой-то шум на улице. Не пожар ли где?

Павел вышел в другую комнату, обращенную окнами на двор.

– К нам народ валит. Что бы это могло быть? Громкий стук в дверь был ему ответом.

Он вышел на крыльцо и очутился среди буйной толпы, которая собиралась ломиться в дом.

– Чего вам, братцы? – спросил он.

– Тебя, тебя нам нужно, и старуху твою, и всех, – крикнул Панас, тормоша его за плечо.

Павел освободился от него и неожиданным движением отпихнул Панаса, который

пошатнулся, навалившись на окружавшую его толпу.

– Бей его, ребята, тащи! – крикнул Панас. Несколько человек бросилось было на Павла.

– Куда тащить? Зачем? – спросил он спокойным, отрезвляющим тоном.

– В церковь! Вас всех, нехристей, приказано в церковь тащить! Отчитывать вас поп

приехал, – со смехом крикнул из задних рядов Кузька.

– В церковь! – воскликнул Павел, поднимая руки и лицо кверху с таким радостным

выражением, что толпа была поражена. "Вот оно, вот что знаменовало видение!" – подумал он

про себя, и сердце его заликовало от такого видимого вмешательства промысла.

– Братцы, я иду с вами в церковь, и мать пойдет, и все! – вскричал он.

– Вишь ты, проворный какой! – воскликнул Панас, опешив.

Павел не слышал его замечания. В сенях раздавались шаги матери; он бросил толпу и

пошел ей навстречу.

– Матушка, – шепнул он ей в возбуждении, – сон-то теперь явно, к чему был послан.

– Что такое?

– Нас велено силой гнать в церковь. Народ за тем и пришел.

– Что ты?

Они обменялись несколькими словами вполголоса и вышли оба к

толпе, держась за руки.

– Идите, добрые люди, – сказала Ульяна. – Мы сейчас идем за вами в церковь и всю братию

приведём.

Она сказала это так ласково и даже радостно, что у толпы окончательно пропало все ее

буйное настроение. Люди стали с любопытством посматривать друг на друга и на Павла с

Ульяной, ожидая разъяснения загадки.

– Что, аль взаправду в христианскую веру снова поворотить хочешь? – спросил

нерешительным тоном Кузька. – Прежде гужом не затащишь, а теперь вдруг сам.

– Не дивитесь, братья, и не соблазняйтесь. Не повернулся я от своей веры, а было мне слово

такое: "Не уничижай веру братьев твоих и не возносись". Идите все в церковь. Мнится мне, что

там сегодня Господь явит десницу свою.

Ульяна заперла дом и, поклонившись толпе на три стороны, ушла вместе с сыном на

деревню скликать своих на собрание к Кондратию.

Постояв и покалякав некоторое время, народ стал расходиться.

Павел с матерью обходили тем временем штундистские избы. Это было настоящее

триумфальное шествие. Появление Павла, после всех толков о нем, возбуждало в первую

минуту недоумевающее удивление. Но двух слов Павла или Ульяны было достаточно, чтобы

превратить его в живую радость.

"Пропадал и нашелся!"

"Мертв был и воскрес!"

Когда народ собрался к Кондратию, решать уже было нечего: все уже согласились

единодушно поступить так, как говорил Павел, которому это решение было открыто свыше.

Выходя из избы Кондратия, Павел с Ульяной наткнулись на толпу, предводимую старостой

Савелием, которая возвращалась с Лукьяновского поселка. Там дело не обошлось так мирно, как

в самой Маковеевке. Впереди, рядом с Савелием, шел Демьян, весь растерзанный, без шапки, с

кровавыми подтеками на лице. Руки его были связаны сзади кушаком, за концы которого

держали его два мужика. Он упирался, как бык, и видно было, что кто-то, не видный за его

спиной, подталкивал его сзади.

Павел подошел к толпе.

– Так-то вы свою веру чествуете? – сказал он.

– А вот тебя-то нам и нужно, – крикнул Савелий.- Без тебя отцу Паисию обедня не в

обедню будет. Хватай его, ребята!

– Опомнись, не безобразничай. Ты старый человек, – остановила его Ульяна. – Разве

церковь у вас съезжая, чтобы людей туда силком тащить?

Демьян, стоявший все еще связанным, мотнул головой, как бык, и зарычал.

– Сказал, что уйду, и уйду! Все равно не удержишь. Савелий пожал плечом.

– Мне что? Уходи себе. Я свое дело исполнил.

– Слышишь? – сказала Ульяна. – Вот мы так сами охотно идем. Держали мы собрание

насчет приказа идти поучение слушать, и решили братья быть в церкви сегодня. Мы иконам не

кланяемся и попам не верим. А послушать ваших попов – почему не послушать. Нет в том греха.

Может, что нам будет и на пользу.

– Так чего же ты раньше не сказала? – вскричал Савелий.

– А ты бы нас собрал да спросил, прежде чем безобразничать, – укоризненно проговорила

Ульяна.

– Вишь ты, – проговорил Демьян, все еще- связанный. – Мне и невдомек. Что: ж, я миру не

отказчик. Коли мир что решил, и я туда.

Толпа стояла в смущении, опустивши руки, не решаясь сознаться в собственной глупости и

не решаясь разойтись, ничего не сказавши.

– У-лю-лю-лю-лю, – вдруг раздался дикий вопль юродивого Авдюшки,

который выскочил

из-за угла и, махая руками, бежал по улице. – У-лю-лю-лю! Бей, жги, говори! – бормотал он,

мотая всклокоченной, лохматой головой.

– Тьфу ты, леший, перепугал зря, – со смехом сказал Савелий, когда юродивый скрылся за

угол.

Толпа рассмеялась и добродушно стала расходиться. Демьян ушел к Павлу умыться и

привести в порядок свой костюм, прежде чем показаться на народе.

Глава XXIII

Церковь была полна народу. Все ожидали чего-то необыкновенного, и только совсем

дряхлые старики да больные остались дома. Когда Галя пришла с отцом и матерью, церковь

была почти полна. Ей не хотелось оставаться на виду. Протискавшись кое-как сквозь толпу, она

пробралась в задний угол, где ее никому не было видно, но откуда она могла видеть все. Рядом с

ней оказалась Ярина.

– А ведь штундарей, говорят, на колени посреди церкви поставят и перед всем народом

каяться велят, – шепнула она.

– Что ты! – встревожилась Галя.

– Дьячок сказывал. Поставят на колени и велят говорить на себя всякие слова. А кто не

захочет, того попы свечками подпекать будут.

– В церкви-то? Что ты мелешь! – сказала Галя.

– Верно говорю, – настаивала Ярина. – Кому и знать, как не дьячку? А Павлу твоему,

говорят, уже и-и! как досталось! Он в церковь не хотел идти. Уперся; "Убейте, говорит, а не

пойду идолам кланяться". Они ведь иконы идолами зовут.

Галя испуганно слушала. В словах Ярины было что-то напоминавшее ей Павла.

– Ну, ну, говори! Что же? – понукала она подругу, которая замолчала, засмотревшись на

входившего в это время Панаса.

– Ну так вот. "Не хочу, говорит, идти вашим идолам кланяться". Они его тащить, а он не

идет. Ну, началась тут драка, и его, бедного, так избили, что, говорят, теперь при смерти лежит.

Глаз вышибли, ногу сломали и два ребра.

– Ах, боже мой! – прошептала Галя. – Да не может быть!

– Кум Терентий рассказывал. Он ему ногу правил и на глаз примочку ставил.

В это время у входа произошла некоторая суматоха, и в церковь вошла кучка штундистов,

среди которых выделялась высокая, красивая фигура Павла.

– Ах, да вот и он сам. Спроси самого, – сказала Ярина, забыв, что говорила за минуту.

Гале было не до того, чтобы разбираться. Она ужасно обрадовалась, увидевши Павла. Он

был цел и невредим, и в нем было сегодня что-то особенно бодрое, торжественное. Таким она

его никогда не видала.

Попы были уже в ризнице, но обедня еще не начиналась. Павел обвел глазами толпу. На

мгновение взгляд его остановился на Гале, но тотчас скользнул дальше, и лицо его осталось

таким же строгим, сосредоточенным и торжественным, как было прежде.

Сердце Гали екнуло: "Ему теперь не до меня", – подумала она, и ей стало грустно. Она так

жалела его в эту минуту, и ей хотелось бы, чтоб он это знал. Но он уже не оборачивался более в

ее сторону.

Вскоре к паперти подъехала старинная четырехместная карета, и из нее вышел старый

генерал в мундире и орденах – отец Валериана. Сам Валериан не утерпел и приехал вместе со

своими. Тотчас же началась обедня, которую служили соборно, торжественно и длинно. Но

мало кто молился. Все ждали с нетерпением окончания службы, когда должно было начаться

настоящее "представление", хотя никто еще не знал наверное, в чем оно будет состоять.

Вот обедня кончилась. Занавесь задернулась. Попы ушли в уборную, где они сняли

парчовые и золотые ризы. Дьячок поставил на амвоне аналой. Готовилась проповедь. Через

несколько минут Паисий, в подряснике, вышел и, слегка поклонившись толпе и специально

генералу, занял место у аналоя. Он очень был польщен присутствием благородной публики, и

рад был случаю, и намерен был отличиться.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа…

Толпа зашевелилась и придвинулась ближе. Многие откашлялись, точно им самим предстояло говорить.

– Истинно глаголет Господь: "Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амалекитян из поднебесной".

И глаголет сын божий: "Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию".

И где же сии амалекиты, о коих говорится в Писании? В пустынях Аравии? Нет, братья, они здесь, среди нас. Вот они! – Он протянул руку по направлению к штундистам и замер в величественной позе, любуясь своим ораторским эффектом.

– Сии омраченные нечестивцы, возмнившись и вознесясь невежественным умом, вздумали, в продерзости своей, отметать церковь, священство, святые иконы и нашу православную веру.

Разберем сие, братья, по статьям.

Он разложил по соломинке учение штундистов и стал разбирать его по статьям, сыпля текстами и ссылками на святых отцов, щеголяя своей теологической ученостью перед образованной частью публики.

Мужики таращили глаза, ничего не понимая. "Вот оно, заклинание-то, и есть", – думали они.

Но у Паисия были и другие орудия.

Разметав твердыню своих противников и не оставив камня на камне, Паисий разгладил бороду, потер свои белые руки и уже другим тоном начал:

– Видите, братья, сколь много темноты в учении сих лжеучителей.

Православные чувствовали сами великую темноту в головах и готовы были поверить этому на слово.

– И что же творят? Иконы святые поругают, на дрова колют, в огонь вметают, горшки

покрывают, святые просфоры на снедь псам выбрасывают!

По церкви пробежал ропот ужаса. Это православные понимали.

– И что же? Мы будем дозволять? Будем терпеть, как ругаются над святыней эти еретики, богохульники?

Паисий понемногу увлекся и, забыв про благородную половину своих слушателей, принялся ругать штундистов, сперва по-ученому, называя их и семенем иродовым, и костью, и плевелами, а потом, перейдя на более простой и понятный слушателям язык, стал ругаться совершенно попросту, обзывая их аспидами, христопродавцами, мерзавцами, бусурманами и анафемами. В самый разгар речи глаза Паисия упали на хмурое лицо Валериана и его отца, которые стояли в передних рядах и были, видимо, возмущены грубостью проповедника.

Паисий смутился и замялся на полуслове. Он очень дорожил мнением благородной публики. Он, впрочем, скоро оправился и кое-как закруглил фразу. Но заключение проповеди вышло какое-то слабое. Он раздвоился и, желая угодить и чистой и черной публике своей, не угодил никому. Только отец Василий был безгранично и одинаково всем доволен. Он не спускал все время умиленного взгляда с проповедника, чамкал от удовольствия губами и при каждом тексте или резкой выходке шептал про себя:

– Ловко! Так их, так их, анафем!

– Аминь, – провозгласил наконец Паисий и с легким наклонением головы юркнул в ризницу.

Затворив за собою дверь, он опустился на кресло и тяжело вздохнул. Он был недоволен своей проповедью и собою. А теперь, как нарочно, ему приходили в голову мысли и выражения одно другого лучше, пока он сидел тут, бледный не от усталости, а от злости. Такой был случай, и упустить его! Ему нередко приходилось бывать в таком настроении

после своих проповедей:

вихрастый служка знал это хорошо и старался не попадаться ему под руку. Но никогда так не
бесился он, как сегодня.
Паисий не замечал, как минуты бежали за минутами, и не удивлялся, что ни отец Василий,
ни дьячок не приходят в ризницу.
Они оставались в церкви, где в это время совершалось кое-что совершенно непредвиденное.
Когда Паисий скрылся, народ стоял несколько минут в недоумении, расходиться ли, или
нет? Все шли в церковь в ожидании чего-то необыкновенного, и вдруг они услышали
посредственную проповедь – и больше ничего. Все стояли в нерешительности и чего-то ждали.
Галя посмотрела на Павла.
Лицо ее то бледнело, то вспыхивало от какой-то внутренней борьбы. Она волновалась,
точно его чувства передались ей по невидимой электрической проволоке. Ей стало страшно и
тоскливо, точно ей самой предстояло что-то сделать, и она стыдилась, и робела, и не могла.
Павел подвинулся вперед и, сделав над собой невероятное усилие, вскричал:
– Православные, позвольте слово молвить!
Галя так и ахнула. По церкви пробежало волнение. Все глаза устремились на Павла.
– Ах ты анафема, вот что выдумал! Да как у тебя язык повернулся заговорить в храме
Божием? – раздался сердитый окрик отца Василия.
Но в это время к нему подошел Валериан.
– Да отчего бы вам, батюшка, не позволить? – шепнул он. – Ведь вы же его потом в лоск
положить можете. А то скажут люди, что вы побоялись с ним в состязание вступить.
– Что? Чтоб я, иерей, побоялся в препирательство вступить с этим сиволапым? Да я
скорей… – он хотел сказать: морду ему исковеркаю, но вовремя

удержался и сказал с

неожиданной для всех сдержанностью: – Ну хорошо,, можешь говорить. Послушаем, чему ты

нас поучать хочешь. Хоть и сдается, что ты как будто молоденек для этого.

Это было умно и просто.

Отец Василий не мог бы ругательствами так испортить для Павла его аудиторию. Павел это

почувствовал, и волнение его настолько усилилось, что несколько секунд он не мог выговорить

ни слова. Крупные капли пота выступили у него на лице. На него жалко было смотреть.

– Чего боишься? – шепнула ему Ульяна. – Бог внушит тебе, что говорить.

Павел встрепенулся.

– Господи вседержителю, ты, отверзавший уста немым, развяжи язык мой, да не посрамлю

имени твоего!

Он хотел сказать это про себя, но, неожиданно для самого себя, проговорил это громко.

Опять волна симпатии хлынула в его сторону, и робость его как рукой сняло. Краска вернулась

на его щеки. Исчезли спазмы в горле. Он поднял голову и заговорил смело и вольно, точно он

стоял перед простым штундистским собранием!

– Братья, не мне, темному человеку, поучать вас. А хочу слово молвить про нашу веру, про

гонимую, чтоб вы видели, какая она взаправду есть, и уж тогда судите нас по-праведному и по

совести, как вам Бог на сердце положит.

Он на минуту остановился, чтобы перевести дыхание.

Народ отступил от него на несколько шагов, так что теперь он стоял в середине маленького

круга, на виду у всех. В передних рядах, которые теперь стали задними, "чистая" публика

поднималась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть нового проповедника. Галя протискалась

поближе, толкая перед собой Ярину, чтобы самой ловче прятаться за ее спиной. Она не сводила

с Павла глаз, следя за каждым его движением, ловя каждое слово. С первых же звуков его голоса

она успокоилась за него и теперь вся отдалась любопытству и удивлению. Все это было так ново

и неожиданно. До сих пор она видела Павла робким, влюбленным, который был весь в ее руках

и ее власти. Одним своим словом она могла сделать его счастливым или несчастным. Теперь он

от нее ушел. Он стал совсем не такой, а какой-то большой, сильный, смелый, которому все

почему-то уступают первое место.

Павел говорил о том, что неверно называют их веру новою.

– Из всех вер наша самая старая, – сказал он, – потому что начиналась она, когда Христос

по земле ходил, и в том наша вера и есть, чтобы Христово учение нам познать и воочию, как бы

апостолы, видеть сподобиться.

– Ишь чего захотел! – проговорил отец Василий вполголоса, чем вызвал легкое хихикание

со стороны своих соседей.

Павел обернулся в их сторону.

– Истинно говорю вам, если уверуете в Христа, все это вам переложится.

Смех мгновенно прекратился. Слова молодого штундиста звучали такой искренностью, что

приковывали внимание всех. Даже в глазах отца Василия заиграло любопытство.

– Братья, христиане мы зовемся, и Христом мы живы. Что бы мы были без него? Он,

спаситель наш, оставил небесные чертоги, и Бог, царь всего, воплотился, на землю пришел, стал

простым человеком, чтоб словом своим нас обучить и наставить, как детей своих, с кротостью и

терпением. Апостолов собрал он к себе и поучал их, как любить друг друга и служить

человекам. Денно и нощно поучал он их, чтобы они нас потом обучить могли. Из-за нас

сподобил их Христос видеть лицо свое, и свои речи святые слушать, и

пил, и ел с ними. Видели

они его, и они, и жены некие слушали его денно и нощно. И прощал он их и не взыскивал, что

не разумели они его. Потому – простые они были люди, рыбаки, плотники, сказать к примеру –

мужики, как мы, грешные.

Павел на минуту приостановился для большей вразумительности, обводя своих слушателей

глазами.

– Вишь ты! – раздалось где-то удивленное и на этот раз сочувственное восклицание.

Этого попы никогда не говорили своей пастве. Павел успел вполне овладеть вниманием и

сочувствием своих слушателей.

– Да, братья, – повторил он, – простые они были люди, как мы, неученые. Потом они уже

уразумели все, когда им свыше то послано было. А тогда не понимали, кто с ними и какое им от

Бога счастье. И огорчили они его неразумением, и когда он предан был в руки врагов, они все

изменили ему, и бросили его, и разбежались, и отреклись от него. Нет чтобы пойти вместе с

ним и сказать: "Вот мы тут все", и помереть на глазах его с радостью.

Голос его оборвался от волнения. В глубокой тишине по церкви пронесся вздох Гали.

"Ах, как хорошо было бы жить тогда! – мелькнуло у нее в голове. – Я бы не убежала".

Она была глубоко растрогана. Все, что Павел говорил, она давно слыхала и заучивала в

школе. Но теперь это казалось чем-то совершенно живым, чего она никогда не подозревала. И

ей хотелось слушать еще и еще, без конца.

– И схватили его, всеми покинутого, – продолжал Павел, – и стали его мучить и на смерть

повели. О братья, велика эта любовь! Кто, к примеру, из-за сына родного, или отца, или матери

даст себе руку отрубить, глаз выколоть, палец один отрезать? А он для нас всего себя на

мученье отдал. Он, царь неба и земли! Единым словом мог свести к

себе легион ангелов, он дал

себя пригвоздить к кресту, и рвали гвозди его тело, и жажда палила его, и он мучился и терпел,

он – царь неба и земли!

В церкви раздались тяжелые вздохи. Как это все было ужасно! Глубокое чувство оратора

передалось слушателям, которым казалось, что они видят перед собой пригвожденного к кресту

страдальца.

– А для чего все это было? – продолжал Павел, возвышая голос, чтобы покрыть эти звуки

скорби. – Для чего он, спаситель наш, мучился? Для того, чтобы избавить нас от греха, всех нас,

что вот тут стоим, малых и больших, и тех, что после нас будут и что были перед нами. И это

еще не все, братья, что он сделал, – воскликнул Павел ликующим голосом. – Больше того он

сделал для нас! Мало того, что он нам евангелие послал, где все сказано, как нам жить. Он сам

среди нас остался. Веруйте только, и он невидимо с вами. Он тут, среди нас, невидимо

присутствует теперь, как мы вот собрались во имя его, он, тот самый, что распинался за нас в

Иерусалиме. И всякому доступ к нему есть. Захоти только протянуться к нему рука, и он

возьмет и поведет, будь ты мудрый, как царь Соломон, или темный, простой человек, первый

владыка или последний нищий, праведник или последний грешник и злодей, – мужик, баба,

девка простая – всех он зовет, всех примет, как детей дорогих. Всем он протягивает свои

объятия, иди только, познай его в сердце своем, возлюби его, как он тебя любит, не противься

ему, не будь ему чужанином, и он будет с тобою невидимо, как был видимо с учениками. И

сойдут небеса в твою душу и любовь неизреченна, и райские голоса ты услышишь в душе своей,

и, на земле будучи, узнаешь ты радости небесные, когда праведные

Бога узрят.

Радостный гул пробежал по толпе. Она теперь верила каждому слову оратора и с трепетом и надеждой ждала от него нового откровения.

– О братья и сестры любезные, – воскликнул Павел с растущим волнением, – не учить я вас мню. Я – как ребенок, которого бы царь, владыка земной, поманил в свой золотой чертог, и показал ему все дива, и отпустил потом, и велел всем рассказать. Приходите! всем место уготовано. Ворота открыты. Сам хозяин стоит там и зовет нас. Идите прямо. Не взывайте к святым, чтобы заступились и слово за вас замолвили. Зачем? Это у земных владык нужны заступники, чтоб попросили за вас. А зачем они, когда он, царь наш, он тут с нами всегда и вовеки всюду? И ко всякому преклонит он ухо свое. Зачем храмы? Зачем ему все это? Вас возлюбил он, души ваши ищет он. Их несите ему в дар, и никого не оттолкнет он.

Он замолчал.

Где-то в углу раздались рыдания.

То всхлипывала Ярина, прижавшись к плечу своей подруги.

Галя не плакала. Она стояла бледная, потрясенная, не будучи в состоянии сама понять, что в ней происходило. Одно она знала твердо и чувствовала всем своим существом, что теперь для нее начинается что-то новое, что старое для нее умерло, и вернуться к нему для нее невозможно. Павел открыл ей и ее саму, и себя, и новый мир нового Бога, живого, близкого, которого она до того не знала. Вернуться к старой жизни и к прежнему, казенному, чужому Богу она не могла, потому что их уже для нее не было.

Она стояла точно в оцепенении, и с нею вся толпа, которая не шевелилась, не думала расходиться, точно ожидая чего-то, собираясь к чему-то и не находя решимости.

– Что это, – раздался резким диссонансом чей-то голос с амвона, –

церковь православная

или еретическая молельня?

То говорил Паисий, который только что вышел из ризницы и застал конец речи Павла.

Все встрепенулись, точно пробужденные от сна. Отец Василий растерянно извинялся,

объясняя, что он разрешил, что ничего из этого худого не будет, что он, Паисий, и не таких

сокрушит…

Паисий даже не смотрел на него и молча, с нахмуренным лицом обводил глазами толпу,

догадываясь по ее виду, какое сильное впечатление произвели слова еретика. Он был так зол,

что не обратил внимания, что генерал подходил к нему с явным намерением заговорить. Он

спустился с амвона и направился прямо к Павлу, перерезывая толпу, которая расступилась

перед ним, давая ему дорогу.

Штундисты стояли тесной кучкой особо. Павел был впереди. Паисий подошел к нему

совсем близко и с минуту пронизывал его упорным, ненавистным взглядом.

– Молодец, молодец, – сказал он громким шепотом. – Годишься в попы. Может, прямо

архиереем тебя поставить?

Павел ничего не ответил. В белесоватых глазах Паисия вспыхивал и разгорался зловещий

огонек.

– В храме против церкви и владык земных народ подстрекать! А знаешь, что за это бывает?

– продолжал он тем же сдержанным шепотом.

– Не думал я об этом и думать не буду. Делайте что хотите со мной. Богу надлежит

повиноваться больше, чем людям.

– Так. Слыхал я уж эти самые слова от одного вашего. Лукьяном прозывался. Теплый был

человек. Эй, где старшина?

Старшина Савелий продрался сквозь толпу и предстал пред грозные

очи маленького

попика.

– Распорядись задержать его впредь до вызова его в город, – приказал он.

Староста кивнул головой сотскому, и они вдвоем подошли к Павлу, машинально сняв с себя

кушаки. Павел протянул им руки.

– Вяжите! – сказал он.

– В церкви! – вскричал Валериан, протискиваясь вперед.- Батюшка, как вы допускаете

такое поругание? – обратился он к Паисию.

– Не надо. На паперти свяжете, дураки! – сказал Паисий.

Но в это время в толпе произошло какое-то неожиданное движение. Народ сразу быстро

повалил толпою к выходу, увлекая с собою и Валериана и Паисия с его двумя подручными.

Павел, не желая дать виду, что он бежит, отступил к стенке и был совершенно оттиснут в

задний угол.

Повернувшись направо, он вдруг заметил, как к нему пробиралась сквозь напиравшую

толпу Галя, бледная, с решительным, как будто суровым лицом, – точь-в-точь какою он видел ее

во сне.

– Павел! – прошептала она, когда они очутились близко. – Возьми и меня с собой. Куда ты,

туда и я! Возьмешь?

Вместо ответа Павел взял ее за обе руки и поднял кверху полные слез благодарные глаза,

шепча что-то губами.

Глава XXIV

То, что привело в такое волнение книшан и выгнало их всех мигом из церкви, был легкий дымок, поднимавшийся из избы старика Шилы. Если б он показался ранним утром, то его можно было бы принять в первую минуту за дым от наваленных в печку сырых дров. Но к обедне все печи давно были вытоплены и прикрыты, пуская из труб лишь прозрачную струю горячего воздуха. Да и не таковский был мужик Охрим Шило, чтобы топить сырыми дровами.

Поэтому церковный сторож Семен, прозванный за свою долговязую фигуру и глубокомыслие аистом, очень удивился, заметив первым синий, понемногу растущий столб дыма над избой Шилы. Он стоял на паперти в ожидании выхода господ, которых его обязанностью было подсаживать в экипаж. Задумчиво направился он в церковь, как вдруг он вспомнил, что только что ясно видел на синем фоне неба обе трубы Шилиной избы и что дым шел не оттуда.

Он проворно сбежал с паперти и отошел несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть. Так и есть. Дым валил не из трубы, а прямо из крыши одной из служб, расположенных позади избы.

Никаких сомнений не могло быть больше. Но, как человек, привыкший блюсти благолепие храма, Семен не поднял тревоги, а пошел разыскивать старика Шилу, которому и сообщил вполголоса, нагнувшись к его уху, что у него пожар.

Старик вскрикнул и бросился вон из церкви. За ним из любопытства вышло еще несколько человек мужчин и женщин. На паперти раздались крик и стоны: пожар в деревне никогда не ограничивается одной избой. Народ повалил валом из церкви и бросился бежать на пожар.

Деревня Книши тянулась тупым углом вдоль берега реки, делясь на две почти равные половины церковью, которая стояла почти у самой верхушки излучины.

Пожар начался в амбаре Охрима, стоявшем в глубине двора, шагах в тридцати от избы, где в ту пору не было ни души. Все от мала до велика ушли в церковь. Дед Спиридон, его сосед, потерявший счет годам, уверял, что он видел, как оттуда выбежал юродивый Авдюшка. Но по старости он не мог припомнить, было ли это до того, как у Шила вспыхнул амбар, или после. Во всяком случае, поджог был тут несомненно, и это никого не удивило, так как у Шила было много врагов. Бегущая толпа видела издали, как густой дым валил из крыши сарая, прямо из темной соломы, которая еще оставалась целою, и быстрыми, погоняющими друг друга клубами несся гигантскою колонною вверх. Потом вдруг дым прекратился, воздух очистился, точно пожар лукаво притих, и в это самое мгновение солома провалилась, и коротенький желтый сноп пламени выскочил наружу. Народ подбегал уже к дому. Крик отчаяния раздался в толпе.

Маленький огненный сноп, точно понатужившись, вдруг поднялся громадным огненным языком к самому небу и, не найдя добычи, изогнулся и лизнул крышу, которая вдруг запылала разом. Изнутри сарая раздавались рев и мычание обезумевшей скотины.

Старик Шило бросился к воротам, стараясь отодвинуть засов. Но от волнения руки его дрожали, и засов не поддавался. Валериан подбежал к нему с подобранным на дворе поленом и одним ударом вышиб клин. Ворота распахнулись и оттуда, в клубах синего дыма, шарахнулись овцы, сбивши с ног его и самого хозяина. Народ бросился в сарай, где металась привязанная к яслям крупная скотина. Крыша во многих местах уже продырявилась,

и мелкие соломенные

искры сыпались сверху. Накинувши свитки на голову, несколько парней, в том числе и Павел,

стали отвязывать недоуздки. Но обезумевшая скотина упиралась, ревела и, дрожа всем телом,

боялась покинуть знакомые места. Только когда сам Шило, поднявшись с земли, вошёл в сарай,

скотину кое-как удалось вытащить. Связав недоуздки, Шило передал их Панасу, который вывел

скотину во двор и так и стоял с одурелым лицом, смотря на пожар, истреблявший отцово

имущество. Пара коней вырвалась у него из рук и забегала по двору.

– Чего стоишь? – крикнул ему Павел. – Угони скотину в поле. Того и гляди народ

перетопчет.

Панас машинально повиновался и погнал скотину вон к лесу, куда не мог достичь огонь.

Двор очистился.

Валериан с несколькими мужиками взлез между тем на крышу избы, которой огонь еще не

коснулся. Он надеялся спасти избу. Снизу им подали вилы, грабли, топоры, и они быстро стали

снимать солому, сваливая ее на южную сторону, за стенку, укрытую от огня. Между тем народ

вместе с хозяином, который успел прийти в себя, выносил из избы иконы в серебряных оправах,

сундуки и всякую ценную рухлядь.

– Иконы берите! Берите иконы! – раздалось несколько голосов.

Два мужика взяли прислоненные к сундуку иконы и стали посреди двора лицом к огню.

Желтое зарево осветило их лица, сверкая на серебре икон и на темных ликах святых. Но избу

спасти было невозможно. Крыша сарая превратилась в один пылающий костер. Поднятая при

сбрасывании соломы пыль вспыхивала на воздухе. Огненные червячки носились над двором все

гуще и гуще, падая то на головы работавших, то на стропила, то на солому, которую еще не

успели снять. Она начинала куриться то там, то сям, и работавшие на крыше едва успевали

заливать занимавшиеся огоньки.

В это время старик генерал, потряхивая эполетами, медленно подходил к горевшему дому.

Узнав про пожар, он распорядился насчет пожарной машины, которая имелась в селе верст за

пять, послав за нею своего кучера верхом, а сам пошел смотреть на пожар. Он подошел в

критическую минуту: сваленная за южную стену солома затлелась уже снизу от нечаянно

залетевшей искры, и, прежде чем работавшие это успели заметить, черный клуб дыма повалил

из-за стены.

– Вниз, все вниз! – крикнул генерал что было мочи, и едва работавшие на крыше успели

сбежать, как пламя широкой пеленой, точно ручей, пробившийся из-под земли, полилось на

крышу и в одно мгновение зажгло остаток неснятой соломы. Валериану, который остался

последним, обожгло волосы. Отец подошел к нему.

– Ну что, обожгло? – спросил он с тревогой. Валериан отрицательно мотнул головой и стал

советоваться с отцом, что теперь предпринять.

Изба Шила примыкала с севера к огромному фруктовому саду и огороду, которые

защищали несколько изб, стоявших со стороны поля. Но с юга теснились избы голытьбы,

которые не имели такой защиты. Валериан с отцом обменялись несколькими словами,

посматривая то на пожар, то на бедные, обреченные огню мазанки с их высокими соломенными

крышами, походившими на угрюмо надвинутые на голову шапки. Изба деда Спиридона почти

примыкала к избе Шила. Спасти ее не было никакой возможности. Но следующая за ней изба

Кузьки была отделена маленьким садиком и стояла отдельно, почти без всяких пристроек.

Можно было попытаться остановить пожар здесь.

– Ведер! Несите все ведра! Чего вы стоите? – крикнул Валериан толпе.

В несколько минут появилось ведер двадцать.

– Тащите еще! – сказал он. – А с тем, что есть, – за мной!

В это время из пламени раздался ужасный, раздирательный крик, похожий не то на ржание, не то на человеческий голос. То был предсмертный вопль пары коней, которые стояли в особом стойле. В суматохе их забыли вывести.

– Братцы, спасите! – крикнул Шило, узнав голос своего любимого коня.

Он бросился к сараю, вырвавшись из рук соседей, которые хотели его удержать. Сарай уже был весь объят пламенем. Горели и стропила, и столбы, и звенья. Кусок обгорелой стены упал и дымился среди двора. Сквозь зияющую дымную пасть можно было видеть коня с обгорелой уздечкой, стоявшего в параличе ужаса около дымящихся яслей. Толпа ахнула, но никто не пошевельнулся. Старик Шило, без шапки, с растрепанными волосами, шел один спасать своего любимца.

– Эй, вернись, старый. Пропадешь без покаяния! – кричали ему сзади.

Но он не оборачивался и все шел на огонь. Тогда Павел не выдержал. Он бросился вперед и отстранил старика с дороги.

– Ступай, ты – старый человек, где тебе справиться, – сказал он и, не слушая его благодарности, пошел на огонь.

Вдруг на крыше что-то хрустнуло, и горящее бревно покатилось вниз. Ульяна крикнула и бросилась к Павлу, который лежал ничком на земле. Бревно упало ему на затылок, обожгло шею и запалило кафтан. Его тотчас облили ведром воды и оттащили в глубину двора. Валериан подбежал к нему и с беспокойством осмотрел его. Все кости были целы. Толстый кафтан предохранил тело от обжога. Валериан дотронулся до плеча.

– Болит? – спросил он.

– Ничего! – отвечал Павел неохотно. Ему неприятны были попечения Валериана. Он сделал

попытку встать на ноги, но голова у него закружилась, и он чуть не упал.

– Нужно отвезти его домой, – сказал он Ульяне и наскоро сделал несколько распоряжений

относительно ухода за ним, обещав наведаться попозже.

– Ничего, пройдет! – успокоил он на ходу Ульяну. Он направился к кучке крестьян,

стоявшей с ведрами в руках.

– За мной, ребята! – крикнул он.

С толпой парней и девок он пошел к реке и, выстроив свой отряд шеренгой вплоть до

Кузькиной избы, велел черпать воду и подавать себе на крышу. Времени нельзя было терять.

Пожар разыгрывался. Подточенная пламенем крыша сарая затрещала и с грохотом повалилась

вниз, придавив собою двух несчастных лошадей, которых после попытки Павла все уже считали

обреченными. С верхушки крыши, на которой стоял Валериан, он видел, как бился под горящим

бревном один из коней, широко раскрыв окровавленный рот, из которого вместе с кровью и

багровой пеной выходил ужасный вопль. Шило услышал его, упал на землю и заплакал, как

ребенок. Его увели со двора.

Часть народа осталась у его избы, стараясь растащить стог соломы, сваленный с крыши,

чтобы замедлить пожар. Другие с новыми ведрами присоединились к тем, которые работали над

Кузькиной избой. Шеренга уплотнилась. Потом их стало две. Ведра воды передавались из рук в

руки, поднимались наверх, а пустые передавались обратно. В десять минут сотни две ведер

было вылито на крышу. Солома пропиталась, как губка, водою, которая капала со стен и стекала

по стенам, смывая штукатурку. Но воду все продолжали лить. Изба Шила вся пылала. Сваленная

с крыши солома давно успела сгореть и громоздилась теперь, как стог

черных кружев на

огненно-красном атласе. Легкий ветерок отрывал от него большие клочья и разносил по всем

направлениям. Как всегда во время пожаров, до того времени неподвижный воздух начал

приходить в движение. Участь деревни зависела теперь от того, куда подует ветер. Все с

замиранием сердца следили за столбом дыма и искр, который поднимался над горящим домом.

Сперва он шел стрелой прямо к небу. Потом стал понемногу наклоняться к северу, к баштанам и

садам. Но это продолжалось какие-нибудь четверть часа. Понемногу столб завертелся,

наклоняясь все больше и больше над рекою. Искры уже начали падать в воду, и в глубине, точно

живая дорога из облаков, отразились клубящиеся волны дыма.

Ветер дул к реке. Продержись он в этом направлении, пожар ограничился бы, по всей

вероятности, одной, двумя избами. Но вдруг синий столб заколебался и расшибся на куски,

точно от могучего удара, и упал на землю тучей дыма, пепла и искр. Потом, точно оправившись,

он выпрямился снова, нагнулся, хлестнул по воздуху полукругом и, как зверь на добычу,

кинулся на Спиридонову избу. Спасенья не было. Деревня была отдана во власть пламени.

Спиридонова изба, как осужденный, стояла одинокая, всеми покинутая и потрескивала, точно

кряхтя в ожидании своей участи. Лишь только ветерок подул в ее сторону, солома на крыше

вдруг взъерошилась, закрутилась, как страусовое перо, и разом вспыхнула целым костром,

который, как фонтан, прыгнул к небу. Но ветер схватил его за дымную верхушку, точно за

волосы, и стал пригинать вбок, все ниже, прямо на Кузькину избу.

Дым и пепел ударили в лицо работавшим на крыше, спирая дыхание, слепя глаза.

– Воды, скорей гони ведра! – крикнул Валериан вниз.

Ведра забегали скорее. Вода полилась в несколько струй на крышу. Но от жгучего дыхания

ветра солома уже начинала париться и жгла ноги сквозь обувь. Платье тлело на теле.

Работавшие обливали себя с головы до ног, чтобы оно не вспыхнуло. Но это помогало только на

мгновение: промокшее платье разогревалось, и, казалось, все тело кипело в котле.

Через несколько минут на крыше оставаться стало невозможным. Народ бросился

разносить две следующие избы и заливать третью, чтобы водой и расстоянием остановить огонь.

Но все, что удалось, – это замедлить его движение. Промежуточные избы не успели вполне

растащить, как сухая драны и соломенная пыль вспыхнули, а вскоре затем затлелась и

заливаемая изба. Пришлось отступить опять и опять, вплоть до церкви, где пожар сам собою

остановился перед широким кладбищем, примыкавшим к зданию, к счастью именно с этой

стороны. Оно было окружено небольшим частоколом, подгнившим и покосившимся кое-где от

старости. У наружной ограды, лицом к улице, стояла избушка, крытая тесом, выкрашенным в

зеленую краску, как и три маленькие купола луковицей, украшавшие собою церковь. Избушка

принадлежала причту, и в ней жила, с разрешения отца Василия, старуха Лукерья, просвирня.

Церковь была деревянная, и Лукерьина сторожка была ей очень опасным соседством, так как,

загорись эта избушка, пожар мог передаться и церкви, и тогда вся южная сторона улицы

неминуемо сделалась бы жертвою пожара.

Валериан, распоряжавшийся более или менее в этой упорной борьбе с огнем, стал

разносить частокол и избушку, а народ, понимавший опасность такого соседства, деятельно

принялся за работу. Но в это время отворились церковные двери, и оттуда показался Паисий с

отцом Василием в полном облачении. Дьячок нес серебряную чашу со святой водой и

кропилом. Весь причт, с крестами, хоругвями и иконами, шел за ними.

Сойдя с паперти, Паисий взял кропило, окунул его в чашу и стал кропить воздух по

направлению к огню, затянув церковную песню, которую весь причт подхватил хором.

Народ поснимал шапки и стал набожно и благодарно креститься. Все побросали работу.

Теперь за них выступила божественная сила, и человеческая помощь казалась уже ненужной и

даже дерзкой. Паисий, по-видимому, совершенно разделял это чувство толпы. Во главе своей

процессии он двинулся по направлению пожара и, став ногой на повалившийся частокол,

принялся кропить и петь с удвоенным усердием. Народ жался за причтом, как испуганное стадо.

Иные подпевали, набожно подняв глаза к небу, другие побежали в церковь и повыносили все,

что там было хоругвей и икон, и стали с ними за спиной духовного чина. Об иной борьбе с

пожаром все перестали и думать.

Валериан протеснился сквозь толпу и подошел к Паисию.

– Батюшка, нужно снести сторожку, – сказал он.- Если она загорится, пожар пойдет на

церковь, и тогда вся деревня пропала.

– "Ты бо еси покров наш. На тя уповаем", – пел Паисий, не давая себе труда ответить. Он

чувствовал себя силой, и нога его не сдвинулась с поваленного частокола.

– Ребята, – крикнул Валериан, – разносить сторожку! Ну же, не ленитесь. Еще немножко.

За мной!

Он пошел по направлению к домику, стоявшему уже с ободранной крышей. Но никто из

православных не тронулся с места. Только кучка штундистов присоединилась к нему да

несколько мальчиков-подлетков, которым весело было все ломать и

разрушать, пошли на его
голос и принялись за работу.

Православные не мешали им, но и не обращали на них никакого внимания, продолжая
стоять к ним спиною.

Штундисты работали молча, угрюмо. Им было не по себе, после того как унесли раненого
Павла, и они чувствовали глухую неприязнь со стороны толпы, для которой трудились. Но
работа подвигалась быстро. Демьян в одной рубашке, весь обливаясь потом, ворочал тяжелым
ломом целые косяки. Бревна с грохотом падали на землю и тотчас оттаскивались на
противоположную сторону улицы, которая оставалась не тронутою огнем. Кондратий тихо
ободрял своих. Избушка таяла, и вскоре от нее осталось только засыпанное мусором и изрытое
ямами место.

Пожар между тем не унимался. Не будь разнесена сторожка, огонь неминуемо
распространился бы и на церковь. Невыносимый жар и дым заставили причт и православных
податься назад. Понемногу они отступили к самым стенам церкви и стояли со своими крестами
и хоругвями, как войско, защищающее свою последнюю твердыню. Голоса охрипли от пения. В
чаше давно уже не было воды. Но Паисий все еще продолжал махать сухим кропилом, чтобы
ободрить своих. Краска на куполе морщилась и покрывалась пузырями, точно ошпаренная кожа.

В нескольких местах полопалась и попадала вниз штукатурка.

– Батюшка, – шепнул Валериан отцу Василию. – Прикажите принести лестницы и обливать
куполы водою. Все же. поможет. Дерево ведь сухое, как спичка. Того и гляди вспыхнет.

Отец Василий посмотрел на купол опытным взглядом деревенского старожила и
беспокойно покачал головою. Церковь могла загореться, а сейчас за церковью стоял его

собственный дом. Но он не решился сделать какого-нибудь распоряжения от себя. Он отыскал

глазами Паисия, с которым разлучился в этом продолжительном отступлении, и, подойдя к

нему, передал ему вполголоса совет молодого барина.

– И ты соблазнился! – вскричал Паисий. – Бог наше прибежище. Среди пламени десницею

своею он защитит храм свой!

Полбороды у него искрошилось от жара, и риза была вся в опалине, но он был

непоколебим. Послав дьячка за святой водой, он стал кропить стены крестом, стараясь

достигнуть как можно выше. Толпа набожно крестилась, шепча молитвы.

И точно: истощившись, пожар начал ослабевать. Перегоревшие бревна уже не давали

такого пламени. Стоять у церкви стало легче. Ветер не дышал уже таким невыносимым зноем.

– Отстоял! Отстоял Господь свой храм! – шептали, крестясь, православные.

Паисий восторжествовал.

Но вдруг случилось нечто, повергнувшее снова толпу в ужас. Ветерок как будто стал

меняться. Солнце уже склонялось к закату. Почва начинала остывать, и свежие струйки, как

ровное ночное дыхание земли, неслись и от реки и от противоположного леса. За рекой берег

поднимался пологой покатостью, которая в версте расстояния кончалась небольшим хребтом.

Пожар тянул к себе струи воздуха с обеих сторон, и эти струи сталкивались на пылающей

деревне, разбиваясь при ударе на мелкие боковые струйки, которые метали снопы дыма и искр

то на дома, то на реку. Гора боролась с лесом, и, будучи ближе, гора начала одолевать. Все чаще

и чаще пыхало снопами искр и дыма на дома. Все дальше и дальше прорывались они, и, наконец

эти мелкие, точно пробные, вылазки превратились в одно общее нападение. Ветер переменился.

Отбитый от церкви огонь устремился на дома противоположной стороны улицы, которая до сих

пор оставалась в стороне, не тронутая пламенем. Народ бросился на улицу к своим угрожаемым
жилищам и с оцепенением ужаса смотрел на широкий поток дыма и огня, против которого не
было никакого спасения. Все обгорелые избы приречной стороны, которые уже было потухали,
вдруг, казалось, ожили под новым дуновением, и огонь длинными свирепыми языками бросался
на беззащитное человеческое жилье. Спасенья не было. Ни разрушить, ни даже залить их не
было возможности. Огонь грозил почти всем избам разом. Особенно свирепо рвалось пламя из
центра, от последних изб, прилегавших к церкви, которые меньше успели перегореть до
перемены ветра.

Карпиха металась около своей избы, то вынося оттуда всякий скарб, то падая на землю, в
отчаянии хватаясь за голову. Карпий с несколькими соседями вяло помогал. Его изба должна
была загореться первая.

– Галя, Галя! – закричала Карпиха. – Куда тебя унесло, чертова девка!

Но Гали нигде не было видно. Она исчезла из толпы вскоре после того, как унесли Павла.

– Постой, я ж тебе задам! Я знаю, где тебя искать, паскудницу!

Схватив качалку, она бросилась бежать в Маковеевку: ей нужно было что-нибудь делать, на
чем-нибудь сорвать злость, дать какой-нибудь выход своему горю и волнению. Но, пробежав
несколько шагов, она увидела попов, стоявших все на том же месте и певших какой-то
благодарственный канон. Это разом дало другое направление ее мыслям. Она остановилась и,
повернувшись к толпе, стала кричать, махая руками:

– Бабоньки! Православные! Смотрите, что эти дармоеды делают! Свое добро отстояли – и
рады, а деревня хоть до тла сгори, им и горя мало.

Куча баб, к которым пристало несколько человек мужиков, собралась вокруг Карпихи,

которая с азартом и смелостью, какой никто не подозревал, накинулась на попов.

– Вы чего тут горло дерете? Небось как за ругой, так вы тут как тут, а как народу пособить,

так от вас как от козла молока. Видите, деревня горит, а вы тут проклажаетесь, ризочки

осмолить боитесь, дармоеды, бесстыдники вы этакие!

Она пришла в совершенную ярость и принялась ругать отца Василия и припоминать ему

его вымогательство. Досталось и Паисию и попам вообще.

– Молчи, дура, что ты мелешь! – прикрикнул на нее отец Василий. Ему стыдно было

показаться в таком невыгодном свете перед консисторским воротилой.

Но Паисий остановил его:

– Не тронь ее: она правду говорит. Радуясь о храме Божием, не надлежит забывать и о

жилищах людских. Не обессудь, матка, не знаю, как тебя звать, – обратился он к Карпихе. – Не

заметили мы вашей туги.

Тотчас же вместе с причтом он пошел процессией по улицам, не обращая внимания на

бивший им в лицо дым и искры, оглашая воздух громким, хоть и нестройным пением. Народ

бежал за ним следом, обегая избы крестьян на ходу и. шепча молитвы. С кропилом в одной руке

и крестом в другой Паисий наступал на пожарище, не обращая внимания на душивший его дым

и горящие уголья, которые падали ему на ризу, на камилавку и на волосы. Он размахивал

кропилом, как волшебник, повелевающий стихиям жезлом. И огонь, казалось, стал смиряться

перед ним. У попа был могучий союзник: за спиной его, в версте расстояния, тянулся глубокий,

прохладный лес, который только на минуту был смят горою. Поддавшийся под ее напором

упругий воздух раздался снова и опрокинул своего противника. Новые и новые волны понеслись

из глубокой чащи, как резервы, идущие на подкрепление передним рядам. Лес одолевал гору.

Когда процессия, дойдя до конца деревни, медленно повернула назад, ветер уже установился и

обметал и деревню, и реку, и горный скат, взметаясь на верхушку хребта, откуда он скользил

непрерывным потоком по покатой равнине, еще освещенной лучами заката. Народ пришел в

исступление. Карпиха, бывшая виновницей поповского торжества, упала на колени перед

Паисием и целовала ему руки.

– Чудо! Чудо! – шептала толпа.

Все крестились, многие плакали. Многие целовали поповские ризы.

Четвертая часть деревни сгорела. Но остальная была вне всякой опасности.

В это время на дороге показалась пыль от приближавшейся трусцой пожарной машины на

двух тощих клячах, которых погонял старый инвалидный солдат.

– Куда машину-то поставить, почтенные? – обратился он к толпе.

Взрыв громкого хохота был ему ответом.

– Упоздал, милый человек, упоздал! Что бы тебе раньше приехать? А теперь ты со своей

машиной куда хошь, туда и ступай.

Толпа окончательно повеселела. Валериан и отец, шедшие медленной, усталой походкой

домой, долго слышали за собой взрывы раскатистого смеха.

Глава XXV

Двенадцать домов сгорело, и около семидесяти человек, считая в том числе женщин и

детей, остались без крова и принуждены были приютиться у соседей и родственников. Но этим

страшный день не кончился, и новая, едва ли не горшая беда надвигалась. Злое семя было

посеяно и должно было дать плод.

Паисий отпустил причт с хоругвями и иконами. Он победил и остался один с отцом

Василием торжествовать победу. Он разом овладел толпою и чувствовал, что теперь она

принадлежит ему целиком и он может делать с нею все, что ему угодно. Он не забыл про

еретиков, которые всего несколько часов тому назад сумели было соблазнить православную

ниву. Теперь пришло как раз время вытравить злое семя.

– Вот, православные, рука Господня на вас, – говорил он, проходя среди толпы. – Бог, отец

наш, помиловал вас, когда вы к нему воздели руки, наказавши вас за ваши грехи. Покайтеся же

во грехах своих и обратитесь к господу, пока он не в конец отвратил от вас лицо свое и не

разразил вас гневом своим.

Он заговорил о штундистах, попрекая православных их терпимостью и повторяя все те

ужасы и обвинения, которыми он их осыпал в церкви. Но теперь каждое его слово против

штундистов вызывало трепет ужаса и негодования. Паисий это чувствовал и все наддавал и

наддавал. Ему пригодились теперь все задние мысли, которые пришли ему в голову после его

утренней проповеди. Он то гремел, как пророк, то переходил в убедительный, фамильярный

тон, который так действует на простых людей.

– Хоть себя, к примеру, возьмите: если при вас отца вашего кто

поносить станет, и бранить, и взводить всякую напраслину – разве вы смолчите? Разве не остановите? А если вы побоитесь и не порадеете и отец ваш узнает, – что он вам скажет на это? Похвалит? Поблагодарит за любовь? А он, отец наш небесный, он все видит и знает. И что же вы думаете? Он не скорбит, не гневается, когда эти отверженцы изрыгают на него хулу, святые его иконы на топливо рубят, храмы его поносят, над крестом святым, на нем же Христос распят был, надругиваются? А вы все видите, и нет чтобы унять богохульников, – терпите и потворствуете!

– Да чего нам их жалеть, окаянных! Что они нам? Мы рады постоять за Бога и веру православную! – раздавались в ответ дружные голоса.

– Вот то-то же, – продолжал Паисий. – Опомнитесь, пока не поздно. Перст божий явил себя сегодня. Вы – люди темные. Бог не захотел вас вконец извести, а только покарал, любя; а за что? за то, что вы соблазнились речами еретическими, – и где же? в самом храме Божием! Уйми вы его, как только он раскрыл свои богохульные уста, пожара бы не было, потому что вы ушли бы из церкви раньше и захватили бы огонь, чуть он загорелся. Разумейте же промысел божий и поучайтесь.

Этот довод был последним и самым решительным, который окончательно сбил с толку толпу. Дело было ясно до очевидности.

– Ах ты, господи, да ведь оно и взаправду так, – крикнул старик Шило.

– Так вот оно что! Ах, они окаянные! – вторила толпа.

Сомнений больше не могло быть: штундисты были во всем виноваты.

– Братцы, да уж не они ли подожгли деревню? – крикнул Панас.

Обвинение было нелепо и дико; оно противоречило и фактам и логике, но толпа вдруг ему поверила.

– А что ж, кому больше? – сказал философ Кузька. – Они, известно, всякую пакость рады

православным сделать.

– Эй, кто в деревне был? Кто что видел? – крикнул Шило.

Дед Спиридон, его сосед, чья изба загорелась первая после Шилиной, старик, потерявший счет годам, оказалось, оставался дома. Он объявил, что, точно, видел из окна, как кто-то шмыгнул из Шилиной избы и побежал вдоль по реке, хотя по старости он не мог припомнить, видел ли он это до того, как вспыхнул Шилин сарай, или после.

– Ну, вот так и есть! – крикнуло несколько голосов в толпе.

– Бежит и воет; показалось мне, будто Авдюшка-юродивый, – шамкал Спиридон.

– Ну какое там Авдюшка! Это тебе сослепу показалось, – смеялась толпа, в головах которой убеждение в виновности штундистов засело гвоздем.

– Кабы не они, – сказал Савелий, – так чего бы погорели одни православные и ни одного штундаря?

– Так, так! Верно: это они, нехристи, бусурманы проклятые.

Замечание Савелия оказалось справедливым: случайно штундистские избы были рассеяны частью по той стороне улицы, которую огонь пощадил, частью в южной половине деревни, куда пожар не распространился.

Толпа вдруг остервенилась.

Не известно кто крикнул:

– Ребята, идем бить штундарей!

И все бросились по этому крику, точно по команде.

Ближайшим оказался дом Кондратия. Толпа ворвалась туда, выломав двери. Но в доме не было ни души. Мигом все было изломано, окна выбиты, сундуки взломаны, и все, что попадалось под руку – платье, горшки, мешки с хлебом, – все было порвано в клочья, побито, рассыпано. Побежали в следующий дом: там тоже никого не было, кроме маленьких детей, которые с испугу забились под печку.

Штундисты собрались в это время на моление в Лукьяновой пасеке.

Но об этом никто не вспомнил.

– Ага, попрятались! Знают, анафемы, свою вину! – кричала толпа, разъяряясь все больше и больше.

В Книшах насчитывалось шесть штундистских домов. Все они подверглись одинаковой участи. Остервеневшая толпа жаждала новых жестокостей.

– Ребята, идем Павла бить. Он всему делу заводчик, и ему некуда сбежать с расшибленной головой.

– Идем, идем. Он всему делу заводчик. С него бы начать.

С палками и вилами народ повалил полем в Маковеевку.

Паисий оставил отца Василия в деревне, наказав ему не допускать народ до крайних пределов неистовства, а сам пошел за толпою. Он рад был дать острастку еретикам, но и начинал немного побаиваться, как бы дело не зашло слишком далеко и ему потом не досталось.

Павел лежал на лавке с повязанной головой. У изголовья, лицом к больному, сидела Галя.

Матери в комнате не было. Она наведывалась от времени до времени и затем под каким-нибудь предлогом уходила, чтобы оставить молодых людей одних.

Галя держала Павла за руку и тихо, робко, как на первой исповеди, рассказывала ему о том, как нашло на нее откровение, как она вдруг все поняла и почувствовала, что все, что она дотоле слышала в церкви, и знала, и повторяла, вдруг стало живой правдой. Павел тихо и радостно улыбался, слушая и едва веря своим ушам, – так внезапно было для него это неожиданное счастье. От времени до времени он задавал ей короткие вопросы, чтобы полнее понять ее душевное состояние. Она отвечала просто и чистосердечно, и с каждым ее словом он чувствовал, как росла душевная связь между ними. Он понимал ее с полуслова.

– Да, так. Это и со мной было, – повторял он.

В сумерки Ульяна вошла и стала накрывать на стол.

Павлу не хотелось есть, но он сделал над собой усилие и сел за стол: сегодняшний вечер был единственный и счастливейший в его жизни, и он хотел достойно почтить его.

Ульяна отрезала ломоть черного хлеба и поставила на деревянной тарелке перед Павлом.

Потом пошла в светелку и принесла оттуда евангелие. Павел взял его в руки и начал читать. Но ему было трудно, и он передал книжку матери.

– Дочитай, – сказал он.

Это была любимая притча штундистов о блудной овце, где говорится о радости ангелов по поводу обращения хотя бы одного грешника. Павел все время не спускал глаз с Гали.

– Да, – задумчиво проговорил он, когда чтение кончилось. – Радуются теперь ангелы, и мы возрадуемся здесь на земле, как ангелы на небесах.

Ему трудно было говорить много, но лицо его и глаза договорили остальное.

– Мать, – прибавил он, – прочитай теперь о тайной вечере.

Когда глава была прочтена, Павел, не вставая, переломил лежавший перед ним хлеб на три части и дал каждому по куску. Когда все трое откусили, он налил в деревянную чашку вина и подал его сначала матери, потом Гале, потом выпил сам.

Это было штундистское причастие. Участием в нем Галя окончательно связывала себя с новой церковью.

Павел не мог сдержать радостного волнения. Несмотря на сильную слабость, он встал и громко, от полноты благодатного восторга воскликнул:

– Господи вседержителю, ты, даровавший мне явно то, о чем дерзала втайне просить тебя душа моя, об одном молю тебя ныне: пошли мне случай послужить тебе и претерпеть во имя твое. Если будет милость твоя, да не посрамится имя твое.

Он вспомнил предсмертные слова Лукьяна, и теперь он им верил.

Ульяна про себя повторила ту же молитву, прося от себя, чтоб если уж сподобит их Бог
пострадать, то чтоб он призвал ее первую. Она так любила сына, что не была уверена в себе, что
она не соблазнится.
Павел стоял в экстазе и смотрел потерянным взглядом, подняв вверх ослабевшие, дрожащие
руки, и вдруг застыл в одной позе, прислушиваясь.
– Чу, слышите шум и голоса? – спросил он женщин. Те, как ни напрягали слух, ничего не
могли расслышать.
– Ляг, усни. Это тебе пригрезилось, – говорила мать.
– Нет, не пригрезилось, и не думайте, что я не в своем разуме, -: сказал Павел. – Я слышу
ясно человеческие шаги, как от быстро идущей толпы людей, и голоса их слышу, а слов еще не
различаю, только чуется мне что-то недоброе. Постойте, слушайте!
Притаивши дыхание, обе женщины снова стали прислушиваться. Кругом было так тихо, что
можно было слышать, как муха пролетит. Так прошло несколько минут.
Наконец Галя сказала:
– Я что-то слышу.
До ее уха доносились неясные звуки, точно писк и стрекотание насекомых в глубокой
траве.
– Постой, постой! – воскликнул Павел, останавливая ее жестом.
Он высунул голову, напрягая свой изощренный болезнью слух, и вдруг вскрикнул:
– Галя, уходи, уходи скорее, чтоб тебя здесь не застали. Беда идет на нас.
– Что, что такое? – вскричали обе женщины.
– Идут на нас с яростью, огни у нас увидели, на дом показывают, говорят злые слова, –

сказал Павел. Он слышал толпу, точно она была под самым окном.
– Галя, уходи, уходи, ради Бога! – вскричал он. Галя покачала головой, и лицо ее
затуманилось. Ей показалось, что Павел хочет услать ее, потому что

все еще считает ее чужой.

– Где ты, там и я, – прошептала она.

– Ну так пусть будет с нами воля божья! – сказал Павел.

Все трое сели и стали слушать.

Теперь уже никому прислушиваться не нужно было: шум шагов и голоса стали явственно слышны. Они становились все громче и громче. Идя на злое дело, толпа старалась возбудить себя криками и угрозами.

Улица была запружена народом. Освирепевшие лица поворачивались кверху. Кулаки потрясались в воздухе. Камни и брань полетели в окна.

Ворота и дверь были отперты, и никому в голову не приходило запереться. Толпа с криком ворвалась в избу. Карпиха вбежала одна из первых.

– Ах ты, паскуда, ты как здесь? – крикнула она, увидевши Галю, и, схватив ее за волосы, повалила на землю и стала тузить по чем попало.

Это спасло девушку: увидев родительскую расправу, толпа оставила Галю в покое и с бранью окружила Павла. Раскрытая на столе книга, казалось, всего более раздражала толпу.

– Колдун, чернокнижник. Ты всему злу заводчик. Убить его, нехристя! За это семьдесят грехов на том свете простятся.

Несколько человек с поднятыми кулаками бросились на Павла, который отступил на несколько шагов и стоял в углу под пустым киотом, где когда-то висели образа. При виде надвигавшейся на него толпы он побледнел, но, не пошевелившись, ждал своей участи.

Ульяна протискалась сквозь толпу и загородила собою сына. Она была бледна как смерть.

Тяжелый рубец был в ее руках. Любовь матери пересилила в ней религиозные предписания.

– Назад! – крикнула она хриплым голосом, которого даже сын ее не узнал.

– Ах ты, ведьма старая! – вскричал Кузька, отталкивая ее в сторону.

Но прежде ЧЕМ он успел опомниться, Ульяна взмахнула рубцом,

который с глухим треском упал ему на голову. Кузька со стоном повалился на землю. Тут толпа остервенилась окончательно. В минуту Ульяна была смята и оттиснута в дальний угол комнаты. Савелий вырвал у нее рубец и сильным толчком повалил ее на землю. Ее стали топтать, рвать на части.

Кровь хлынула у нее из горла. В это время в избу вошел Паисий, который не мог, а может, и не особенно хотел, поспеть за толпою.

– Остановитесь! Так ведь и убить недолго! – сказал он спокойным голосом, отстраняя от распростертой на земле Ульяны ее мучителей.

– Сама начала, ведьма старая! – оправдывался Савелий. – Вот Кузьке башку проломила.

– Что ж, можно бабе острастку дать, а зачем же бить смертным боем? – наставительно произнес Паисий.

По приказанию Паисия ее положили на лавку. Она тяжело хрипела, но не открывала глаз.

Тем временем несколько человек уже схватили Павла, который, не сопротивляясь, отдался им в руки.

– Бей его, рви, – кричали одни.

– Тащи его вон, не погань избы, – кричали другие. Но эти крики были покрыты другими.

– Вяжи его и в воду! Коли выплывет – так колдун, а ко дну пойдет – так нет.

Паисий подошел к ним.

– Православные, не след губить душу. Пусть покается, – сказал он.

Но его не слушали. Павла схватили, связали ему руки назад и поволокли вон.

Галя вырвалась из рук матери. Она хотела крикнуть, но голос отказался повиноваться ей. У нее закружилась голова, потемнело в глазах, и она упала без чувств у ног Ульяны.

Изба опустела. Только Авдотья осталась причитать над дочкой, стараясь привести ее в

чувство. Толпа пошла к реке. Паисий с трудом поспевал за нею, переваливаясь на коротких ножках. Когда он подошел к реке, народ уже выволок Павла на помост, где бабы мыли обыкновенно белье над быстриной, и собирался бросить его в воду.

– Стой, – сказал он. – Привяжите пояс ему под мышки.

Савелий, по привычке слушаться начальства, спустил с себя кушак. Едва только он продел его под связанные руки их общей жертвы, как несколько человек столкнуло его в воду. Павел пошел ко дну.

– Вишь ты, тонет! Видно, заколдовать себя не успел, – злобно проговорила толпа.

– Тащи назад, – сказал Паисий.

Савелий потянул конец пояса. Павла вытащили на помост.

– Вот окрестили штундаря, – со смехом крикнул Панас.

– Отрицаешься ли дьявола и всех аггелов его? – спросил Паисий, как это делается при настоящем крещении.

– Господи, – громко воскликнул Павел, – прости им, не ведают бо, что творят.

Но это мужество еще больше разъярило толпу.

– Не восчувствовал! Бросай его снова и держи подольше! – крикнуло несколько голосов.

Павла снова бросили в воду.

Когда его вытащили, Паисий повторил:

– Отрицаешься ли дьявола и аггелов его? – и Павел снова повторил:

– Господи, прости им…

– Бросай его опять, – крикнул на этот раз сам Паисий.

Павла снова бросили в воду. Когда его вытащили в третий раз, он едва мог говорить.

Паисий повторил свой вопрос.

– Господи… – прошептал он. Паисий не дал ему кончить.

– Будь ты проклят, еретик, в сей век и в будущий! Кто-то бежал вниз по крутизне. Это был Валериан.

Он зашел проведать Павла и из ахов Авдотьи догадался о том, что творится.

– Что вы делаете, Бога в вас нет! – вскричал Валериан, вбегая на

помост. – И вы, батюшка,

тут стоите и поощряете. И ты, Савелий, староста?

– Еретика, по христианскому обычаю, в реке троекратным погружением омыть от грехов

хотели. Никакой в том беды нет, – сказал Паисий.

– По-вашему, по-поповскому, может быть, и нет, а по закону за такое мучительство в

Сибирь полагается, – обратился он к мужикам, преимущественно к Савелию.

– В Сибирь? – усмехнулся Паисий. – Этому богохульнику и осквернителю храма, точно, в

Сибирь прогуляться придется, а не тем, кто хотел спасти его душу и возвратить его в истинную

веру.

Он запахнул рясу и медленно и важно удалился. Оставшись один, Валериан стал стыдить

мужиков.

– Совести у вас нет. Смотрите, человек больной, чуть не убило его, когда вас же от пожара

он спасал, и вы чем ему отблагодарили?

– А пожар-то через кого? – возразил Савелий. – Все через него, окаянного.

– Да они же, нехристи, и подожгли, – крикнул Шило, грозя Павлу кулаком. – Не так еще с

тобой, с чернокнижником, нужно бы расправиться.

– Старый ты человек, а мелешь такой вздор! – вскричал Валериан.

Он подошел к Павлу и развязал ему руки.

– Идите себе с Богом, присмотрите за матерью. Я зайду потом проведать.

Павел ушел, понурив голову.

Быть обязанным освобождением, быть может жизнью, безбожнику, каким он считал

Валериана, было самым тяжелым испытанием, какое ему было послано в этот день. Он не мог

разобраться с мыслями, не мог понять такого противоречия.

"Бог знает, что творится", – сказал он наконец про себя.

Валериан не мог исполнить своего обещания – зайти проведать старуху Ульяну. От ожогов,

которые он сам получил, и от волнения с ним в тот вечер сделалась лихорадка. Он слег и

пролежал в постели два дня. Когда он пришел к Павлу, то застал там Кондратия. Старуха,

мертвая, лежала на столе: она умерла накануне от причиненных ей побоев. Ее молитва о том,

чтобы принять венец мученический, если она сподобится его, раньше сына, была услышана.

Павла не было: в это утро, за несколько часов до прихода Валериана, за ним пришел сотский

вести его в волость, откуда его увезли в город и посадили в ту самую тюрьму, где сидел

покойный Лукьян. Его обвинили в публичном оказательстве и оскорблении храма. По его делу

составлена была комиссия, председателем которой был назначен тот же Паисий.

Глава XXVI

Прошло два с половиной года. Суровый сибирский ноябрь стоял на дворе. С востока дул

резкий ветер, гоня перед собой по безбрежной якутской степи струю мелкой снежной пыли,

которая играла и клубилась, засыпая низкие леса и овраги, слепя глаза скотине и человеку.

Никаких препон вольной стихии. Ничего на пути, и быстро, как птица, несется неудержимый

вихрь. А все-таки целые месяцы понадобятся ему, чтобы долететь до какого-нибудь города или

настоящей деревни.

Далеко забрались мы. Сурово здесь небо, бедна природа, и беспомощен и жалок человек.

Холодное солнце уже перевалило за полдень, но его не видно на молочном небе, подернутом

тонкой пеленою облаков. Еще тусклее и унылее под этим ровным, неподвижным светом

выглядит однообразная равнина, по которой то там, то сям торчат посреди сугробов верхушки

тонкой лиственницы.

Тяжело ступая в широких котах по сыпучему снегу дороги, плетется длинной лентой

арестантская партия. Люди устали и замерзли. Грубые халаты и изодранные полушубки плохо

защищают от стужи. Цепи, хотя и искусно подвязанные, задевают снег и мешают идти.

В хвосте колонны шла, впрочем, небольшая кучка арестантов без цепей, хотя они,

очевидно, считались наиболее опасными, так как цепь конвойных вокруг них сгущалась. Это

были политические ссыльные административным порядком, которые, не будучи судимы, не

были лишены своих привилегий.

Их было немного, всего пять человек: одна девушка, ссылаемая за распространение каких-

то брошюр, и четверо мужчин, из коих один был совсем мальчик, лет пятнадцати, с голубыми

глазами, курчавой головой и круглым детским личиком, несколько нерусского типа, которое так

и горело на морозе. Его звали Ваней. Он был еврей родом и, как таковой, за найденные у него

революционные брошюрки ссылался ни более, ни менее как в северный улус, по ту сторону

Полярного круга. Двое других были люди средних лет: один – отставной чиновник, другой –

помещик, ссылавшийся за "укрывательство" собственных детей, которых постигла гораздо более

жестокая кара.

Пятый, выбранный старостой партии, задумчиво шел впереди своих товарищей, которых

незаметно обогнал и смешался с толпой уголовных.

Это был наш старый знакомый, Валериан. Он тоже попал в ссылку, и это случилось очень

просто. Когда после событий, описанных в последней главе, Валериан поднял новое дело об

избиении Ульяны, повлекшем за собой ее смерть, и об издевательстве над Павлом, Паисий

отписал, что издевательства никакого не было, а что Ульяна умерла своей смертью после драки,

ею же затеянной. Потом, видя, что Валериан не унимается и ведет дело дальше, он решился

прибегнуть к легкому и испытанному средству уничтожить своего неугомонного противника.

Он написал на него донос в Петербург, обвиняя его в революционной пропаганде и

распространении среди мужиков бунтовских брошюр. Никаких фактов в доказательство Паисий

привести не мог, потому что сам ничего наверное не знал. Но и подозрения было, конечно,

достаточно. У Валериана был сделан внезапный обыск и, к несчастию, удачный: у него нашли

пакет книжек, которых он, на беду, не успел припрятать, так как только что получил их из

Петербурга.

Участь его была решена. Поймав конец нитки, жандармам уже не трудно было расплести весь клубок. Валериана увезли в Петербург и посадили в крепость, где продержали около двух лет. Тем временем набежали кое-какие улики; выяснились кое-какие другие провинности. Дело приняло серьезный оборот, и только благодаря связям старика отца наказание ему ограничилось

ссылкою в Восточную Сибирь.

Теперь огромный путь был пройден, и они приближались к Юконску, маленькому городку, где первая партия поселенцев должна была остаться.

Валериан выдержал путь прекрасно. Но следы крайнего изнеможения видны были и на его спутниках и на прочих арестантах, составлявших огромную партию.

Ежась в изодранные полушубки, уныло плелись арестанты, бороздя ногами глубокий сыпучий снег. Колонна растягивалась все больше и больше.

Поручик Миронов, начальник конвоя, вышел наконец из себя.

– Прибавь шагу, подтянись! – крикнул он, сойдя с дороги, чтобы быть больше на виду.

Поручик Миронов был человек лет пятидесяти, выслужившийся из фельдфебелей, с проседью и красным, облупившимся от мороза лицом.

– Сомкни колонну, вша острожная! – повторил он, входя понемногу в ругательный азарт.

Он был большой мастер сквернословить и любил щегольнуть этим при случае. Но он сдерживался и ругался, так сказать, в полсилы. В партии шли политические, которые хотя и преступники, а все же люди образованные, и поручик стеснялся, тем более что с одним из них, именно с Валерианой, он успел познакомиться и даже, можно сказать, сблизиться за дорогу.

Миронову случилось занемочь – ну а болезнь не свой брат: пришлось поклониться своему же арестанту. Валериан поставил его на ноги. С этого и началось знакомство, которым Миронов

почему-то очень дорожил.

Подгоняемые криком грозного начальника, арестанты прибавляли шагу, больше чтоб

показать рвение, потому что, пройдя почти бегом мимо конвойного, они начинали плестись

медленнее прежнего.

Перед Мироновым мелькали серые, заиндевелые фигуры: молодые, старые, с бородами и

без бород, мужчины, бабы, парни. Прогремела повозка с кладью, оставив за собой большой

интервал.

Два арестанта, очутившиеся впереди, ускорили шаг, но не вздумали ни бежать, ни иным

образом обнаружить свое рвение. Конвойного это тотчас привело в ярость. Он бросился на

лентяев с поднятыми кулаками.

– Я вам покажу, как проклажаться! – крикнул он и занес руку для здоровенной затрещины

крайнему – белокурому парню лет тридцати, с красивым вдумчивым лицом. Но в это время он

заметил своего приятеля из политических, доктора, смотревшего на него упорным, строгим

взглядом. Руки Миронова опустились. Он ограничился легким пинком в спину крайнему,

больше для проформы, да густым потоком брани, которая, как известно, на вороту не виснет.

Ни белокурый, постарше, парень, ни его товарищ помоложе, в котором по волосам и

смуглому цвету лица можно было узнать южанина, ничем не ответили на обиду. Младший нес

на руках продолговатый комок всякого тряпья и платков, внутри которого шевелилось

маленькое живое существо – ребенок. За ним, еле передвигая ноги от усталости, шла молодая

баба – очевидно, его жена.

– Ишь барыня! – не мог удержаться конвойный. Баба как-то съежилась и ближе прижалась

к мужу, точно желая за него спрятаться. Но конвойный больше их не трогал. Пропустив еще с

десяток пар, он повернулся и пошел рядом с колонною, понемногу, как будто нечаянно,

отставая, пока он не поравнялся со старостой политических, взгляд которого помешал кулачной

расправе. Валериан продолжал себе идти своей дорогой, решительно не обращая внимания на

шагавшее рядом с ним начальство.

Миронов крякнул.

Никакого результата.

– Ведь вот какой народ, – проговорил он, как бы размышляя сам с собою. – Без брани да

зуботычины, кажись, щей хлебать не заставишь.

Молодой человек усмехнулся и повернул к нему свое красивое бледное лицо с маленькой

мягкой бородкой и густыми белокурыми кудрями, выбивавшимися из-под серой арестантской

шапки.

– А вы попробуйте, – сказал он.

– И пробовать нечего, – отвечал конвойный. – Скоты, батюшка, а не люди. Про иных

прочих я не говорю, – поспешил он прибавить. – Вы люди образованные.

– Ну, а те, которых вы чуть-чуть не побили, тоже скоты, по-вашему? – сказал молодой

человек, указывая головой на арестантов, шедших впереди за повозкой.

– Штундари-то? Ну, эти еще ничего себе. И за что только их гонят – в толк не возьму!

Смирный народ. Да ведь их никто и не трогает.

– Не трогает? А вы-то сами только что?

– Что ж я? Я ничего. Так разве, представление сделаешь, чтоб не зазнавались. Ведь чуть не

на сто сажен отстали. Не потакать же.

– Да разве они это нарочно? Смотрите, баба-то его совсем пристала. Того гляди упадет по

дороге. Вы бы вместо ругани хоть на повозку-то ее посадили.

– Ну вот еще! В карету не прикажете ли? – рассердился конвойный. – На всех повозок не

напасешься. Уж вы, Валериан Николаевич, того…

Трое арестантов, шедших за повозкой, были Павел с Галей и Степан-иконоборец. Степан ссылался на каторгу, а Павлу наказание ограничилось поселением. Они встретились с Валерианом в московской пересыльной тюрьме, куда Валериана привезли из Петербурга, а их с юга. Несколько времени Валериан и конвойный шли молча.

– А скоро ли этап? – спросил Валериан. – Я тоже устал порядком по этой дороге.

– Скоро, – утешал его Миронов. – С час места. Эй, не отставай, подтянись! – зашумел он снова.

Он прибавил шагу, чтобы нагнать голову колонны, не переставая все время покрикивать, и вскоре штундисты услышали его голос и забористую брань у самого своего тыла. Галя испугалась и, спотыкаясь в глубоком снегу, бросилась вперед.

– Чего ты надрываешься! – шепнул ей Павел, удерживая ее за рукав.

Миронов заметил это и повел усами, что у него было предвестником брани. Но вместо того чтоб разразиться потоком сквернословия, он сказал:

– Эй, молодуха! Пристала на задние ноги? Иди на телегу, что ли!

Павел и Галя с удивлением посмотрели на конвойного, не зная, издевается ли он над ними, или говорит серьезно.

Это колебание и удивление разом взбесили поручика.

– Ах ты ведьма киевская! – вскипел он. – Еще кочевряжиться вздумала! Ноги протянешь, так мне ж за тебя отвечать. Пошла в телегу, коли велят. Эй ты, болван, стой! – крикнул он погонщику. – Не слышишь, что ли, что тебя зовут?

Повозка съехала с дороги и остановилась. Павел помог Гале влезть.

– Дай мне ребенка, – сказала Галя.

– Ничего, я сам понесу, – отвечал Павел. – Я не устал.

– Нет, дай, ему здесь покойнее будет. Мне нетрудно держать.

Павел подал ей ребенка и побежал вперед на свое место в рядах. Повозка снова двинулась, пристав на этот раз к хвосту колонны. Дорога перевалила через холм и

пошла прогалиной, поросшей густым хвойным лесом. Ветер утих. Неподвижный воздух потеплел, и хотя небо потемнело и стало матово-серым, но казалось, что то было не от сгустившихся облаков, а от приближения сумерек.

Покойно сидя на своей вышке и приятно покачиваясь на мягких мешках, Галя чувствовала себя, как в раю. Ребенок был тоже, по-видимому, доволен. Он не ерзал, не шевелился и, казалось, заснул. Заслонив его от света, Галя приподняла платок, закрывавший ему личико.

Мальчик не спал. Он зажмурился на минуту от света и поморщился в нерешительности, расплакаться ли ему, или нет. Но повозка так приятно убаюкивала его легкой качкой, что плакать решительно не, стоило. На мягких губках появилась улыбка, и он весело заболтал ручонками. Галя вся просияла. Нагнувшись над ребенком, она стала целовать это маленькое личико и эти красненькие ручонки и прижимать к груди это крохотное, беззащитное создание, источник такого счастья и такого страдания. О, только бы Бог дал ей сберечь малютку! – думала она. Сегодня утром мальчик что-то недомогал. Но за день он опять оправился, и она была счастлива снова.

Лес между тем кончился. Дорога потянулась открытым полем, которому нигде не видно было ни конца, ни предела. Колонна стала растягиваться все больше и больше.

– Подтянись, сволочь безногая! Живей, скоро ночлег! – кричал Миронов, понукая где бранью, а где и пинком.

Но вот с холмика арестанты увидели полузанесенное снегом темнеющее бревенчатое здание, обнесенное частоколом. Это был этап, хотя он казался не более спичечной коробки, так

что в первую минуту трудно было поверить, что вся эта масса народа может в нем поместиться.

Партия приободрилась. Усталости как не бывало. Все – и люди и лошади – прибавили шагу. До этапа оставалось минут двадцать ходьбы. Ветер утих, но небо вдруг потемнело, и кони стали фыркать и беспокойно метаться. На востоке, на темно-сером фоне горизонта показалось белое облачко. И конвойный и старые опытные бродяги, которых было не мало в партии, поминутно посматривали туда. Облачко росло, хотя едва заметно, и, очевидно, приближалось. Воздух стал как-то особенно тяжел. В поле в нескольких местах подняло снег, точно гигантская лопата опустилась сверху и взметнула его вверх: то были струи ветра, налетавшие на землю откуда-то с вышины, пробивая крепко сдавленный нижний слой воздуха.

– Буран, буран! – раздались крики, и, не дожидаясь команды, вся колонна ринулась вперед, в том направлении, где минуту тому назад виднелась черная коробочка. Теперь все слилось в непроницаемую мглу. Снег валил хлопьями, которые сильный вихрь крутил, завывая, по полю.

Павел бросился к повозке, где сидела Галя, но бежавшая кучка арестантов сбила его с ног, а когда он встал, то уже не мог разглядеть ничего, кроме тонущих во мраке спин. "Галя, Галя!" – кричал он. Вой вихря был ему единственным ответом. Галя не могла его слышать. Она была впереди, и, прижавшись ко дну повозки, она старалась своим телом согреть своего мальчика от пронизывающего ветра.

"Галя, Галя!" – кричал между тем Павел.

Он видел мельком, как Галя нагнулась на телеге. Ему показалось, что она слезла, и он был уверен, что Галя где-нибудь бродит. Какая-то телега громыхнулась вдалеке. Павел бросился туда, и через минуту его не видно было в вихре снега. Вдруг перед ним, точно из-под земли,

выросла шеренга пяти человек, которые шли ему навстречу, держась за руки. Это была кучка

политических, предводимых Валерианом, который шел посередине. Он узнал штундиста.

– Куда вы? – окрикнул он его. – Назад! Заметет вас в поле через минуту.

Он высвободил руку и взял его в ряд.

– Идем скорей. В ряду не собьешься. Прибавь шагу, ребята. Ваня, не отставать! Покажите,

что вы совсем большой, – шутливо обратился он к своему соседу.

– Да мне что? Я совсем не устал! – сказал Ваня, бодрясь.

Он собрал последние силы и пошел так быстро, что остальные едва за ним поспевали. Они

чуть не стукнулись лбами в частокол этапа, который вдруг вынырнул перед ними из мрака.

– Ворота влево, забирай влево вдоль забора! – кричал Валериан что было мочи, но его едва

можно было расслышать в трех шагах расстояния.

Когда они вошли во двор, там была уже куча народа. Конвойные, погонщики, арестанты –

всё смешалось в одну веселую толпу, радовавшуюся избавлению от гибели. Миронов хотел

сделать перекличку, но это оказалось совершенно невозможным в темноте.

– Все, все! – кричали арестанты. – Буран не свой брат. Всякого загонит.

Миронов пересчитал только политических, которые держались кучкой и оказались налицо.

Остальных он не стал задерживать на холоде и вьюге. На всякий случай он приказал, пока не

уляжется буран, держать свет во всех верхних окнах, которые были видны с поля, и часовым

приказано было подавать чаще голос, на случай, если кто из арестантов заблудился в степи. А

пока он распустил партию, скомандовав "на ночлег".

Арестанты шумной гурьбой бросились в здание, чтоб захватить, если можно, место на

нарах, а не то под нарами. Павел нашел в толпе Галю с мальчиком на руках. Они очень

обрадовались друг другу, потому что и Галя была в большом беспокойстве за Павла. Но

предаваться излияниям было некогда. Нужно было бежать захватывать место для ночлега. Когда

они втиснулись в двери этапа, палата была уже битком набита народом. Павлу со Степаном с

трудом удалось захватить угол на нарах для Гали. Самим же им пришлось либо ложиться на

грязный, смрадный пол, либо спать сидя, прислонившись к стене.

Глава XXVII

Дежурный внес парашку. Старший унтер-офицер окинул последним взглядом камеру,

чтобы убедиться, что все обстоит благополучно, и вышел, замкнув за собою дверь. Партия была

предоставлена самой себе до следующего утра. Иные тотчас же расположились на нарах и под

нарами, и вскоре оттуда послышался громкий храп на всевозможные мотивы и тоны. Другие,

усевшись, полуголые, у маленькой керосиновой лампочки, стоявшей на опрокинутом ведре,

чинили разные свои лохмотья. В укромном углу, у стены, со стороны входной двери,

расположился на полу маленький кружок из пяти человек, которые дулись в карты. От времени

до времени слышался оттуда сдержанный шепот. В промежутках раздавалось бульканье

плоской бутылочки, переходившей из рук в руки. Молчаливый татарин-майданщик сидел,

упираясь руками в колени, и считал партии.

Галя уложилась, как могла, на лавке. Степан нашел свободное местечко немного поодаль.

Павел примостился внизу, сидя, у стены. Пол был так невероятно грязен, что лечь на него было

то же, что растянуться в вонючей луже.

– А с Лукьянушкой как раз что-то неладно, – сказала Галя. – Днем такой славный был, что

любо было смотреть, а вот теперь опять затосковал, голубчик наш.

– Это оттого, что с чистого воздуха, – со вздохом сказал Павел. – Дух тут тяжелый какой.

Ну да, Бог даст, обойдется.

Мальчику тяжело было дышать в этой переполненной народом комнате. Он был недоволен,

обижен такой переменой к худшему и считал себя в полном праве разразиться громким ревом.

Но после сытной груди и долгой прогулки на свежем воздухе его

сильно клонило ко сну. и он не

хотел откладывать этого удовольствия и потому, ограничившись недовольным бурчанием, он

тихо засопел.

– Ну вот видишь, я говорил, – сказал Павел.

Галя успокоилась. Бережно положив мальчика к стенке, она легла с ним рядом, стараясь

вытянуться, чтобы занимать как можно меньше места, и закрыла глаза. Но ей не спалось.

Мальчик метался во сне, сбрасывая с себя материну кофточку, которой она его покрывала.

Потом он проснулся и стал плакать. Гале хотелось встать и укачать его на руках, ходя по

комнате, но она боялась, что потеряет свое место, если уйдет хоть на минутку. Свесив вниз

ноги, она стала укачивать ребенка, припевая ему вполголоса малороссийские песни. Ребенок,

казалось, успокоился.

– Песенник будешь, как батька! – любовно проговорила Галя.

Она положила мальчика возле себя и стала забываться сном, как он снова заплакал. На этот

раз она унимала его долго и не спускала с рук, пока он не заснул крепко. Она сама чуть не

валилась от сна и усталости, и едва только мальчик умостился в своем уголке, как она сама

упала на дорожный мешок, служивший ей подушкой, и тотчас же заснула тяжелым сном

полного изнеможения.

Сколько она проспала в эту страшную ночь, она не могла сказать. Тяжелое сознание

действительности не покидало ее ни на минуту. Она помнила, что она в Сибири, что ее гонят в

ссылку в какое-то бесконечно далекое нежилое место. Но зачем она попала в рудники? Павла

осудили ведь на вечное поселение, а не в рудники. А она так и вовсе осуждена не была. Она –

вольная, охотой идет за мужем. Зачем же ее в рудники пригнали? Ну да на все воля Божия.

Нужно все терпеть. Не ей, а им грех бабу с ребенком в рудники

посылать. Она была в арестантском костюме, с лопатою и что-то копала. В шахте было много всякого народа в таких же нарядах, как она, и все работали. Баб она не видела – все мужчины, только Павла между

ними не было. Это отец Паисий так устроил по злобе, чтоб им не вместе работать. Рядом с ней стояла тачка, куда она бережно накладывала руду, чтоб не потревожить своего Лукьянушку, которого она уложила на той же повозочке. Он был спеленанный и чистенький, не то что на этапе. В шахте было темно. Что-то вроде не то факела, не то лампадки освещало тот угол шахты, где она работала. Кругом была густая темнота, наполненная шумом и криками: там, видимо, копошились люди.

Вдруг из этой темноты выделилась какая-то человеческая фигура и направилась к ней. Хотя она не видела ее, потому что стояла к ней спиной, но она чувствовала, как эта фигура все приближается, и понемногу ею начинал овладевать удручающий страх. Ей хотелось обернуться, хотелось бежать что есть мочи, но она не смела пошевельнуться с места и продолжала долбить руду. Фигура между тем стояла уже за ее спиною, и вдруг в ее ушах раздался грозный окрик:

– Так-то ты копаешь, ведьма киевская!

Галя обернулась. "Теперь уже все равно!" – подумала она и узнала голос конвойного, поручика Миронова. Только одет он был как-то странно и был очень свиреп. Никогда не думала она, что человеческое лицо может быть таким свирепым. Он был весь красный, страшно поводил усами, и из глаз его точно искры сыпались.

– Ребята, покажите-ка ей, как копать! – крикнул он.

Все побросали работу и с гиканьем и хохотом схватили ее и бросили в яму, которую она только что перед тем выкопала.

– Щенка ее брось к ней, чтоб ей не скучно было, – крикнул Миронов, и кто-то бросил на нее сверху мальчика, и со всех сторон на нее посыпались комки земли среди диких криков и дикого гоготанья.

Их закапывали живьем. Тяжелая земля давила ей грудь. Она задыхалась.

– Господи, приимли мою душу! – вскрикнула она – и проснулась. Но она не тотчас пришла в себя. Ей казалось, что она все еще во сне. В камере стон стоял от подавленного крика, площадной брани. Один из игроков смошенничал, и его товарищи тузили его в углу.

Майданщик бросился их разнимать, рассыпая тумаки направо и налево.

– Будет вам, черти окаянные! – грозно закричал он. – Начальство накличите. За вас, чертей, отвечать придется. Этак и убить недолго.

Он вырвал провинившегося игрока из рук его остервенелых товарищей и толкнул его пинком в угол за свою стойку.

– Проспись, дурацкая башка, – сказал он, загораживая его своим грузным телом.

Игроки уселись по своим местам и стали сдавать карты.

Галя сидела на лавке и старалась прийти в себя. Рядом с ней Лукьянушка метался и плакал.

Она взяла его на руки и стала укачивать. Но он не унимался. Все его маленькое тельце было как в огне.

– Что с тобой, миленький, голубчик? – шептала она, чуть не плача сама. Ребенок только пуще метался,

Она повернула его лицом к лампочке, которая коптила на ведре, и у нее похолодело на сердце. Мальчик весь посинел, – как она думала, от крика. Он страшно таращил глаза и широко открывал ротик, точно рыбка, выброшенная из воды.

– Павел! Помогите, – вскричала Галя. – С Лукьянушкой беда.

Павел, свалившийся на кого-то во сне, вскочил на ноги.

– Смотри, помирает! – сказала Галя, и сама пришла в ужас от собственных слов.

– Что ты, Господь с тобой, – успокаивал ее Павел.

– Да нет, смотри же, смотри! – настаивала Галя. – Бедная моя головушка!

Она принялась возиться около мальчика, укачивая его, подбрасывая наверх, стараясь

смеяться и развеселить его. Но ничего не помогало. Ребенок слабо кричал и раскрывал рот,

глотая воздух. Он задыхался.

Галя думала, что она с ума сойдет.

Вдруг ее осенила счастливая мысль.

– К доктору, – вскричала она. – Сейчас, сию минуту.

– Да где ж его взять? – спросил Павел.

– Как, где? А Валериан Николаевич? Разве он конвойного не вылечил? Чего ж нам

ломаться?

Галя напустилась на него ни за что ни про что, предположив, что он не хочет обращаться к

Валериану из-за старой неприязни.

Не дожидаясь ответа, она бросилась к двери, спотыкаясь о тела спящих арестантов,

устилавшие пол, как снопы на току, и принялась что есть мочи колотить в неё руками и ногами.

Первые всполошились игроки. Они быстро припрятали карты и испуганно обернулись к

двери- Узнав, кто был причиной переполоха, они напустились на Галю с ругательствами. Но

она, ничего не слушая, продолжала молотить в дверь.

– Да перестанешь ли ты, чертова перечница, – крикнул майданщик. – Весь этап

всполошила. Начальство нагонишь. Пошла спать, дура, не то я тебя…

Он направился к ней с поднятыми кулаками. Павел загородил ее и готовился принять на

себя удар. Степан тоже проснулся и, протирая глаза, шел к нему, спотыкаясь о спящих

товарищей. Но в это время застучал засов и в двери показался конвойный.

Игроки быстро припали к земле, кто куда поспел, и сделали вид, что спят.

– Что за шум? Кто тут дебоширует? – крикнул поручик, входя. Но воздух был до того

удушлив, что он отступил шаг назад и остановился у порога, держась за скобку двери, чтобы

захлопнуть ее при первой возможности.

– Батюшка, у меня ребенок помирает, – вскричала Галя, переступая ногою через порог,

чтобы не дать офицеру так скоро от нее уйти.

– Ну, так я ж тут при чем? Чего ж ты меня беспокоишь?

– Батюшка, позволь доктору показать, тому, что с господами идет. Один у меня. Первый.

Позволь показать, – упрашивала Галя.

Дверь все время стояла полуоткрытая. Свежая, живительная струя проникала в эту нору,

вытесняя удушающее зловоние. Но еще больше, чем зловония, арестанты боялись холода,

против которого у них не было иной защиты, кроме жалких лохмотьев.

– Эй, затворяй дверь! Что ты нас морозить вздумала, – раздался изнутри какой-то сиплый

голос.

– Затворяй, затворяй! Нечего там с офицером лясы точить, – иронически заметил другой.

Галя, с ребенком на руках, переступила порог и притворила за собой дверь. Она закутала в

платок мальчика, чтоб он не простудился. Самой же ей было не до холода или простуды.

– Допусти, батюшка! – продолжала она молить. – Он из наших мест. Нашего барина

бывшего сын. Он нас знает и всегда добр был до нас. Допусти! Век буду за тебя Бога молить.

– Нельзя, – отвечал Миронов, насупившись. – В больницу пойдешь завтра, как в город

придем. А ссыльным нельзя лечить, не дозволяется. Не по закону.

– Да разве есть такой закон, чтоб матери смотреть, как у нее на руках ребенок помирает?

Конвойный насупился еще больше. Ему стало жалко бабы, да и Валериану хотелось

доставить удовольствие. Он знал, что тот будет рад помочь своим землякам.

– Ну, подожди, – сказал он наконец. За Валерианом послали рассыльного.

– Шла бы ты в камеру. Чего на холоду стоишь? – сказал конвойный Гале, когда они остались вдвоем.

– Ничего, батюшка. Ребенку тут как будто полегчало.

И точно, когда через четверть часа пришел Валериан, то он нашел мальчика совершенно оживщим и оправившимся.

– Ребенок здоров, – сказал он. – Это с ним, верно, от спертого воздуха. Бывало это с ним прежде?

– Каждую ночь почитай он мечется. Да так, как сегодня, никогда не было.

– Ну, уж последняя ночь. Завтра в городе заночуем, – утешал ее Валериан.

– Да как же эту-то ночь мне с ним быть? Не дать ли ему снадобья какого?

Как крестьянка, она верила, что против всякой болезни есть свое снадобье.

– Ничего ему не нужно, – сказал Валериан и, отведя поручика в сторону, стал что-то говорить ему вполголоса.

– Ну нет, батюшка, извините, – громко запротестовал Миронов. – Этак вы меня под суд подведете за попущение. Она за уголовным идет и должна сидеть с уголовными. Переводить их в другие камеры строго воспрещается. Эй, молодка, ступай назад. Был тебе доктор. Довольно ты тут проклажалась.

Он отворил дверь в камеру и взял Галю за плечо. Но оттуда пахнуло таким страшным зловонием, что Галя отшатнулась. После того как она побыла на свежем воздухе, ей показалось, что ее толкают прямо в клоаку.

– Не пойду! – вскричала она, упираясь. – Я здесь ночь просижу.

– Что ты мелешь! – рассердился на нее конвойный. – Пошла!

Он толкнул ее в камеру и запер за нею дверь. Павел подошел к ней.

– Ну что? – спросил он.

В первую минуту Галя де могла ничего сказать: с ней чуть не сделалось дурно. Но она вспомнила про ребенка и превозмогла себя, – что станет с малюткой без ее ухода?

– Доктор говорит, что здоров. Только бы ночь эту перемочься.

– Ну и слава Богу, – сказал Павел.

Он успокоился и, снова усевшись на свое место, задремал, уронив голову на колени. Но Галя не могла спать. Все ее мысли были сосредоточены на ребенке. Он крепко заснул на свежем воздухе и не проснулся, когда с матерью вернулся в камеру. Галя сидела на лавке, держа его на коленях, полная одной думой: как бы поскорей прошла эта последняя, самая ужасная ночь и их снова выпустили из этой ямы на свет божий.

Понемногу ее чувствительность прекратилась. Она перестала замечать запах, но зато во всем теле она почувствовала какую-то тяжесть и тесноту в груди. От времени до времени по спине пробегал мороз, и кости как-то ныли. В голове мелькали бессвязные, отрывочные мысли не то полудремоты, не то начинающегося бреда. Ее соседка справа, тетка Лизавета, по прозванию Щука, потянулась и открыла глаза.

– Что, касатка, не спится? – добродушно сказала она.

Щука приговорена была к пятнадцати годам за двойное убийство, но была самой веселой бабой в партии.

– Над ребенком сокрушаешься? – продолжала Лизавета, и, поднявшись на локоть, она посмотрела на мальчика, который лежал с ее стороны, освещенный керосинового лампою, которая то вспыхивала, то притухала, точно в предсмертной агонии.

– Трудно с ребятами-то по этапам, – рассудительно заметила она. – Что их мрет тут, не приведи господи! Не ты первая, не ты последняя.

– Что вы говорите, грех вам! – сквозь слезы сказала Галя-

– Что ж, я ничего. Дай Бог ему здоровья. Мне что ему зла желать. Я только так. Коли помирает, отчего же не сказать?

Она повернулась к ней спиной и лежала не шевелясь, стараясь уснуть.

Лампа вспыхнула, бросив густой клубок дыма во всю вышину стекла, потом потемнела и, казалось, готова была потухнуть. В это время мальчик как-то странно засопел, точно в коклюше.

Галя бросилась к нему и схватила его на руки. Он открыл глаза, жалобно запищал и закрыл глаза в изнеможении, тяжело дыша крошечной грудью. Галя с замиранием сердца следила за малейшим его движением,

– Утро! Господи, пошли скорее утро! – молила она. Но утро было далеко и не торопилось прийти к ней на помощь. Решетчатое окно зияло черной пастью. Маленькая керосиновая лампочка, которая, казалось, задыхалась под бременем тяжелых мутных паров, одна боролась с тьмою, бросая багровые мерцающие лучи на грязные стены, на бревенчатый закоптелый потолок и на грязный пол, весь устланный темными фигурами арестантов.

Игра в углу продолжалась. Но играло уже только двое записных картежников. Остальные разошлись спать, прикорнувши где кто мог. Галя видела перед собою угрюмую угловатую спину самого упорного игрока, который проиграл уже и все деньги, и паек, и казенное платье, за что ему предстояло на следующем же этапе выдержать порку. Но он все еще хотел играть.

– Нет, баста! – сказал его противник, бросая карты на дно опрокинутого ведра, служившего игральным столом. – Наигрались сегодня.

Он откинулся назад и потянулся, громко зевая. Это был маленький рыжий человечек, похожий с виду на мастерового.

– Еще раз, черт, – сказала спина угрюмо. – Последний.

– Много-то уж этих последних было, – сказал рыжий. – Будет.

– Сказываю, последний, дьявол! – настаивала спина.

– Будет. Не хочу. Спать пора.

– Ах ты карманщик проклятый! Обобрал, а теперь спать.

Лицо рыжего мгновенно исказилось бешенством. Не говоря ни слова, он нагнулся и вынул из-за голенища что-то длинное и блестящее: нож, который он ухитрился пронести сквозь всевозможные обыски.

Галя с испугом схватила мальчика на руки, чтоб уберечь его, в случае чего. А между тем в голове ее мелькало: "Ах, хоть бы задрались да начальство пришло. Всё хоть бы дверь отворили".

Но майданщик схватил рыжего за шиворот и так тряхнул его, что нож вывалился у него из рук.

– Вот только посмей у меня буянить, – шепнул он ему на ухо. – Все про тебя артели скажу.

– Отстань, свиное ухо! – огрызался рыжий.

Он поднял нож, спрятал его за голенище и ограничился уже одной руганью. Вскоре все затихло. Слышался только в разных углах храп арестантов да мерное падение капли с холодного отпотевшего потолка. А снаружи выл дьявольскими голосами страшный буран.

Темнота сгущалась. Лампочка еле мерцала, не имея уже силы вспыхивать. Все спало. Не спала только Галя. Считая минуты, она сидела на нарах, не спуская глаз с ребенка, лежавшего у нее на коленях. То ей казалось, что он помирает, и ей хотелось поднять шум и нести его снова к доктору. То она уверяла себя, что он спокойно спит, и она боялась пошевельнуться, чтобы не потревожить его.

Вдруг мальчик заметался и жалобно вскрикнул. Лизавета проснулась и, подняв голову, взглянула на ребенка.

– Помирает, – хладнокровно сказала она.

– Неправда, Бог не допустит. Грех вам это говорить, – твердила Галя.

Ребенок весь вздрогнул, точно электрическая искра пробежала по его маленькому телу.

Потом он вытянулся и перестал шевелиться.

– Вот ему и лучше, – сказала Галя.

Лампочка вспыхнула в последний раз и потухла, наполнив воздух удушливым смрадом. В камере воцарился абсолютный мрак. Ребенок лежал бездыханный на руках матери. Едва зажженная и не успевшая разгореться жизнь потухла в темноте, как эта несчастная лампочка.

– Ну вот нам опять лучше. Вот мы и уснули, – причитала мать, укачивая быстро костеневшее тело. Она приложилась губами к маленькому личику. Оно было холодно, как лед.

Страшный, раздирающий вопль раздался в камере. Арестанты повскакали с мест.

– Что? Что такое? Кого убили? – раздавались в темноте испуганные голоса.

– Мальчика моего убили! – крикнула несчастная мать.

Наутро буран прекратился. В партии недосчитывалось четырех человек, которые отбились от своих и, очевидно, замерзли в поле и были занесены снегом. Но так как это были простые бродяги, то на их гибель Миронов не обратил никакого внимания. Даже их трупов не стали разыскивать. Он их отметил без вести пропавшими во время бурана и оставил этапному смотрителю распоряжение, чтоб, когда весной снег оттает и трупы будут найдены, он доложил об этом в якутское тюремное управление. Партия двинулась дальше.

Природа сжалилась над Галей. К утру у нее открылась настоящая горячка. Валериан упросил Миронова дать ей повозку на последний переход. Вместе с Павлом они закутали ее, как только могли, и в таком виде доставили в Якутск. Они ожидали, что тут будет конец их мытарствам и что они останутся в этом городе до весны, а может быть,

и совсем. В бумаге

относительно Павла и Валериана было сказано глухо, что они ссылаются в распоряжение

начальства в Восточную Сибирь, без обозначения места ссылки. Они могли поэтому

рассчитывать, что их оставят в самом Якутске. Но здесь их ожидал новый удар. В тюремном

управлении, оказалось, уже лежала бумага из Петербурга, чтение которой вызвало плач и стоны.

Почти половину партии предписывалось препроводить на ужасный остров Сахалин, который

только что было предпринято обратить в каторжную колонию.

Разделение было произведено как будто наугад, без всякой видимой системы. Только

политические все препровождались на проклятый остров. Из обыкновенных же ссыльных, часто

из прикосновенных к одному и тому же делу, одни оставлялись в Сибири, других гнали

добивать на убийственном, холодном и мертвом острове.

Степан оставался в Якутске. Что же касается Павла, то он был в числе отправляемых. Это

было для него ужасным испытанием, потому что Галю необходимо было оставить в городской

больнице. Валериан сказал ему, что она не выдержит этапного пути, если б даже ее и позволили

взять с собою. Но у него между якутскими ссыльными оказались знакомые и товарищи, и он

обещал Павлу, что она не останется без призору.

Через полгода она действительно присоединилась к нему на Сахалине.

– Вот, – сказал Павел, когда ему было прочтено решение, – исполнилось предсказание

Лукьяна, что копье вонзится в мое сердце и сложу я кости в земле хлада, и голода, и смертной

тоски.

Издание 1984 г.